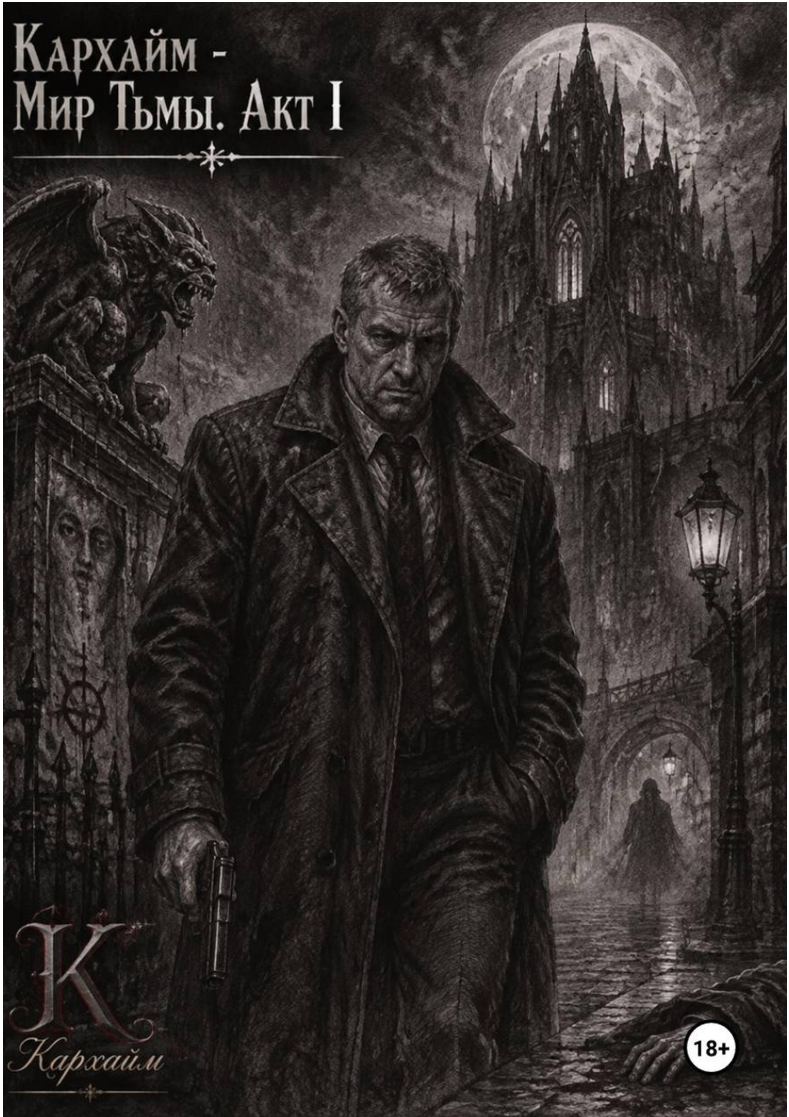
Кархайм - Мир Тьмы. Акт I



Кархайм

18+

Михаил Филатов
Мир Тьмы. Акт I

https://litres.ru/74870368
SelfPub; 2026

Аннотация

Наш мир куда сложнее чем нам кажется, и это ощутил на себе Артур Власов, бывший следователь по особо важным, а ныне частный детектив без лицензии. И когда ему после очередного семейного дела, предложили большие деньги, за вроде бы простое дело, он не долго думал, и согласился.

В итоге, водоворот событий стал затягивать Артура в глубины, о которых он и не подозревал, и вообще считал сказками, да бредом тех кто находится в дурдоме. Увы, реальность оказалась крайне жестокой.

п.с. Аннотация пока такая, позже её перепишу.

Любые совпадения с реальными людьми, местами - Случайность.

Весь сюжет книги, вымысел автора.

Мысли героев книги, персонажей - это их мысли, автор ни к чему не призывает.

Замечаниям и критике по существу - Буду рад.

И да, это будет - Трёхтомник. Понемногу, в свободное от работы время, вычитываю текст и правлю. Сроки не скажу, но в

течении года три книги должны быть выложены, если ничего не случиться.

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 28
Глава 3 53
Глава 4 80
Гла 109
Конец ознакомительного фрагмента. 110

Михаил Филатов
Мир Тьмы. Акт I

Глава 1

Туман ещё держится в низине, белёсый и плотный, как застывшее молоко, пролитое вдоль русла высохшего ручья. Я сижу в машине третий час, стекло приспущено на палец, чтобы не запотевало, и держу камеру с длинным объективом на коленях, запястья затекли, но я давно научился не шевелиться, когда объект может выглянуть в окно в любую секунду.

Дело, если это вообще можно так назвать, дешёвое до смешного. Клиентка, Марина Бородина, женщина с голосом, в котором слышится одновременно обида и расчёт, из тех, что в разговоре по телефону сразу переходят к цифрам - сколько это будет стоить, и сколько времени займёт. Подозревает своего мужа, Сергея Бородина, в том, что он снял дачу в этой самой дыре не ради рыбалки, как говорит коллегам, а ради женщины лет на пятнадцать моложе себя, с которой, по её словам, *переписывается слишком часто для просто коллеги по работе*. Я видел десятки таких дел. Все они одинаковы, и заканчиваются точно так же, одинаково, снимком через щель занавески, который кто-то потом покажет адво-

кату по разводам.

А ведь было время, когда я расследовал убийства. Настоящие, с кровью, с протоколами осмотра места происшествия, с людьми, которые смотрели на меня снизу вверх, потому что я умел находить то, что другие не видели. Теперь я нахожу чужие измены за пятнадцать тысяч рублей плюс бензин. Карьерный рост, мать его так. Иногда я представляю, что сказал бы себе самому, тому, двадцатилетней давности, в форме, уверенному, что справедливость - это профессия, а не роскошь. Он бы, наверное, рассмеялся мне в лицо, или заплакал, а может дал бы в морду. Я бы на его месте тоже не знал, что выбрать.

За окном машины, деревня живёт своей неторопливой жизнью, той самой, которую москвичи называют «настоящей», приезжая сюда на выходные с шашлыками, и за которую потом ненавидят комаров и отсутствие связи. Где-то за третьим или четвёртым домом горланит петух, хрипло, с перерывами, будто сам не до конца проснулся и делает это из принципа, а не по велению природы. Скрипит калитка, протяжно, на одной ноте, металл о металл, звук, который ни с чем не спутаешь, если хоть раз провёл детство в деревне у бабушки. Из трубы ближнего дома тянется дым, негустой, сизоватый, пахнущий ещё не до конца оформившимся утром, кто-то топит печь, хотя на улице июнь и давно не холодно, но живя в деревне хотя бы несколько лет, это становится привычкой, которая въедается крепче любых доводов

разума. Пахнет сырой травой, землёй после ночной росы и чем-то похожим на подгнившие яблоки, хотя яблони здесь, скорее всего, ещё даже не отцвели.

Ничего. Абсолютно ничего, что намекало бы на неладное. Обычное утро в обычной подмосковной деревни, одной из тысяч, рассыпанных по карте области, как крошки со стола, с покосившимися заборами, с баннерами «продаётся дом» на въезде, с местными, которые давно привыкли, что дачники смотрят на них, как на декорацию для своей загородной жизни.

Я опускаю взгляд на камеру, проверяю заряд, батарея показывает сорок два процента, должно хватить, если Бородин всё-таки выйдет на крыльцо с кем-то, кроме собственной жены. Протираю объектив рукавом куртки, хотя на нём и так ни пылинки, просто руки хотят чем-то заняться, пока глаза и уши работают за двоих. Потом беру телефон, ничего, ни одного сообщения.

Не то чтобы я ждал чего-то особенного. Друзья, с которыми можно было бы перекинуться парой слов в шесть утра, закончились примерно тогда же, когда закончилась моя работа на государство, люди вообще не любят держаться рядом с теми, от кого несёт неудачей, как будто это заразно. Бывшая жена не пишет, да и с чего бы, если официально она мертва уже пять лет, и это единственное, что я знаю о ней наверняка, хотя где-то внутри, в той части, которую я давно запретил себе слушать, есть сомнение, холодное и неприят-

ное, как капля за шиворот. Сын... нет, об этом я сейчас думать не буду. Не в шесть утра в машине на обочине деревенской дороги, с камерой на коленях и запахом бензина, въевшимся в обивку сидений.

Убираю телефон обратно в карман куртки и усмехаюсь, коротко, зло, без удовольствия, скорее по привычке, чем от чего-то смешного. Вот оно, величие частного детектива Артура Власова, сидит в тумане, выслеживает чужого мужика ради справки для развода, и единственное живое существо, которое подаёт голос в радиусе видимости, это чёртов петух, которому, судя по всему, тоже глубоко плевать, что происходит в этом мире, и утром он орёт чтобы не ему одному было хреново.

Я поднимаю камеру, прижимаю глаз к видоискателю и навожу резкость на дом номер семь по улице, которая на картах не значится вовсе, а местные зовут просто «та, что у пруда». Калитка скрипит снова, где-то дальше, за несколько дворов. Дым из трубы редеет, тает в светлеющем воздухе, туман понемногу отступает к низине, жду. Это единственное, что сейчас умею делать хорошо.

Дверь дома номер семь открывается без скрипа, и это первое, что меня удивляет за всё утро, петли у Бородиных смазаны лучше, чем у половины московских квартир, в которых я бывал по службе. Сергей выходит на крыльцо в майке и трениках, босиком, с кружкой в руке, щурится на светлеющее небо так, будто проверяет погоду перед дальней доро-

гой, а не вышел покурить в собственном дворе. Я опускаюсь чуть ниже сиденья, хотя машина стоит достаточно далеко, за кустами черноплодки у соседского забора, и меняю объектив движением, которое отработано до автоматизма ещё с тех времён, когда я носил удостоверение, а не вот эту частную лицензию без лицензии.

Светлана появляется со стороны соседнего участка, через дыру в заборе, которую, судя по вытоптанной тропинке в траве, использует не первый месяц. На ней ситцевый халат, волосы собраны наспех, и идёт она с той уверенностью, с какой ходят по собственному двору, а не по чужому. Бородин ставит кружку на перила, и она подходит вплотную, и он обнимает её одной рукой за талию, второй проводит по волосам, жест настолько домашний, настолько лишённый всякой тайны, что мне на секунду становится неловко, будто я подглядываю не за изменой, а за обычной человеческой нежностью, которой по какому-то недоразумению нет у его законной жены.

Поднимаю камеру и начинаю снимать.

Затвор щёлкает тихо, почти бесшумно, хорошая оптика того стоит, даже если платил я за неё из гонорара, который теперь целиком состоит из вот таких утренних засад. Кадр за кадром, объятие, его рука скользит ниже, она смеётся запрокинув голову, он что-то говорит ей на ухо, и она отвечает коротким поцелуем, который длится ровно столько, чтобы попасть в фокус и в данные файла с точным временем съёмки.

Этого достаточно. Марина Бородина заплатила за конкретный результат, и вот он, готовый, лежит на флеш-карте моей камеры, упакованный в пиксели лучше, чем любое признание на допросе.

Делаю ещё десяток кадров, просто на всякий случай, привычка требует подстраховки, а не потому что мне нужно больше доказательств. Хватило бы и первых трёх.

Ничего во мне не шевелится, когда я смотрю на это, ни злорадства, ни чувства выполненного долга, даже того мелкого грязного удовольствия, которое, говорят, испытывают люди моей теперешней профессии. Только работа, ещё один развод состоится, ещё один адвокат получит свой процент, ещё одна женщина узнает то, что, скорее всего, и так знала, просто ей нужны были бумажки, чтобы знание превратилось в основание для раздела имущества. А я получу перевод на карту и закрою папку, на которой уже написано «Бородин С.В., дело 14».

А ведь когда-то, я сидел на допросах людей, у которых руки по локоть в чужой крови, и выбивал признания не кулаками, умом, терпением, умением ждать дольше, чем ждёт подозреваемый. Было звание, удостоверение, которое открывало двери без скрипа смазанных петель. Был брак, в котором я, если честно, тоже кое-что просмотрел, не измену, нет, хуже, собственную слепоту к тому, что происходило в доме, пока я ловил чужих убийц. Теперь я ловлю чужих изменников, и разница между этими двумя занятиями с каждым го-

дом кажется мне всё менее очевидной, во всяком случае с точки зрения того, какого рода отвращение они во мне вызывают.

Сергей что-то шепчет Светлане, та кивает, оглядывается на окна дома, хотя внутри, насколько я знаю из отчёта клиентки, никого нет, Марина уехала в Москву ещё вчера вечером, якобы к сестре, а на деле наняла меня проверить, не врёт ли муж про рыбалку с друзьями. Рыбалка, значит. На даче у этой самой Светланы, через дыру в заборе.

Опускаю камеру и проверяю отснятое, все кадры чёткие, экспозиция ровная, время съёмки впечатано в файл цифрами, которые не оспорит ни один адвокат. Выключаю камеру, убираю в сумку, застёгиваю молнию до упора, хотя никто за эти десять минут так и не посмотрел в мою сторону.

Пора уходить, и уходить аккуратно, выйти прямо на дорогу от кустов значило бы пройти мимо дома напрямик, а Бородин, судя по всему, человек не самый наблюдательный, но лишний риск мне ни к чему. Я медленно, пригнувшись, двигаюсь вдоль забора в обратную сторону, туда, где кончается огород и начинается пустырь, заросший репейником и каким-то цветущим бурьяном, запах которого смешивается с утренней сыростью в нечто душное и сладковатое.

Через пустырь я иду не по прямой, а огибая задние дворы соседних изб, так дольше, зато меня не видно ни из окон дома номер семь, ни с дороги, если вдруг кто-то выйдет из

калитки раньше времени. Трава мокрая, хлещет по голеням, ботинки скоро промокнут насквозь, но это всё мелочи, с которыми я давно научился мириться, как и со многим другим в этой профессии.

Где-то за спиной снова скрипит дверь, негромкий женский смех обрывается, Бородин что-то говорит низким голосом, слов не разобрать, да и незачем, своё дело я уже сделал. Я прибавляю шаг, обходя покосившийся сарай с ржавой крышей, и выхожу к той самой тропинке, что ведёт мимо последних дворов к обочине, где я оставил машину.

* * *

Тропинка выводит меня к покосившейся изгороди, за которой ещё одна изба, та, что крайняя перед выходом на обочину - серые бревна, местами подёрнутые зелёным мхом, крыша с прогибом посередине, как у старой лошади. Такие дома в Глинково стоят через один, им лет по сто, если не больше, и никто их не ремонтирует, потому что ремонтировать некому, молодёжь давно в городе, остались старики да дачники на лето.

На заборе, на самом верхнем, подгнившем венце, сидит кошка.

Белая, без единого пятна, шерсть чистая настолько, что в сером утреннем свете кажется чуть голубоватой, как бывает со свежим снегом в тени. Сидит ровно, хвост обёрнут вокруг лап, спина прямая, и смотрит она на меня.

Не в мою сторону, на меня. Разница есть, и я её чувствую

раньше, чем успеваю понять, обычное животное скользнёт взглядом мимо, уткнётся в что-то более интересное, птицу, движение в траве, собственный хвост, а эта смотрит так, будто я единственное, что интересного происходит на три двора вокруг.

Замедляю шаг. Не останавливаюсь совсем, просто сбавляю, инстинктивно, как сбавляешь, подходя к подозреваемому, который слишком ровно держит руки в карманах.

Глаза у неё жёлтые, почти янтарные, и в этом нет ничего странного, у белых кошек часто такие, я видел десятки. Странность в другом. Солнце уже поднялось над крышами, светит прямо нам в лица, косо, но достаточно ярко, чтобы любой нормальный зрачок у любой нормальной твари сузился в нитку, спасаясь от утреннего света. У неё... нет. Зрачок остаётся круглым, широким, тёмным, будто на дворе глубокая ночь, а не девятый час утра, и смотрит этот зрачок прямо в меня без малейшего намёка на моргание.

Стою, с камерой в сумке на плече и мокрыми по колено брючинами, и ловлю себя на том, что считаю. Раз. Два. Три. Она не мигает.

Профессия оставляет свои привычки, и от них не избавиться даже после того, как у тебя отобрали удостоверение, глаз сам цепляется за несовпадение, за деталь, которая не укладывается в общую картину, как при осмотре места, когда всё вроде на месте, а что-то всё равно царапает, и не можешь понять, что именно, пока не найдёшь перевёрнутую

фотографию в рамке или пыль, стёртую там, где её быть не должно. Вот и сейчас где-то в затылке что-то тихо скребётся: не так. Не так свет лежит в этих глазах.

Я даже делаю к забору полшага, сам не замечая, как ноги несут меня чуть в сторону от тропинки, чисто чтобы рассмотреть получше, может, оптический эффект, бельмо, катаракта, мало ли что бывает у немолодой животины.

И тут же одёргиваю себя за шиворот, как пьяного в вытрезвителе.

Хватит, Власов, кошка это. Бродячая или хозяйская, какая разница, альбинос, у альбиносов вообще со зрением беда сплошная, у людей то же самое, светобоязнь, нистагм, зрачок не реагирует как надо, читал я это ещё в институте на какой-то скучной лекции, запомнил чисто потому, что сосед по парте в тот день уснул и захрапел на весь зал. Может, больная животина, блохастая, с глистами, доживающая свой кошачий век на заборе у деревенской избы, и нечего из неё делать мистику только потому, что я не спал всю ночь, высматривая в бинокль чужую измену, и мозги у меня слегка подванивают от усталости, как бельё, не стиранное вторую неделю.

Фыркаю себе под нос, сам над собой, вот до чего доводит работа, если на четвёртом десятке часов без сна начинаешь коту в глаза заглядывать, выискивая состав преступления.

Дом, на чьём заборе она сидит, я, кажется, знаю. Или не знаю, а просто предполагаю, потому что видел его уже тре-

тье утро подряд, пока вёл наблюдение за дачей Бородиных через два двора, изба с резными наличниками, не крашенными лет двадцать минимум, дымок из трубы в одно и тоже время в четыре утра, значит, печку топят, живут постоянно, не по-дачному. Выходила из калитки старуха в телогрейке, кормила кур у сарая, зерно из подола сыпала, а следом за ней старик, сутулый, в кирзовых сапогах даже летом, с палкой, которую, кажется, больше носил для вида, чем по надобности. Обычный деревенский быт, из тех, что вросли в землю столетия назад и на столетие вперёд, и будут стоять, пока не рухнет последняя стена, куры, печь, банька по субботам и кот, или кошка при доме, куда ж без неё, мышей гонять да сидеть на солнце, грея старые кости.

Вот и эта сидит. Греется. Мышей, может, уже и не ловит давно, возраст такой, что только на заборе отсвечивать да за прохожими приглядывать от скуки..

Ноги всё же несут меня в сторону забора раньше, чем я успеваю решить, зачем это делаю. Шаг, другой, почти машинально, как будто профессиональная привычка проверять то, что не укладывается в картину, включилась сама, без моего разрешения. Кошка не вскакивает, не выгибает спину, и не прыгает вниз и не бежит прятаться под крыльцо, как сделало бы на моём месте любое нормальное животное при виде идущего прямо на него чужого человека. Она просто продолжает сидеть, подобрав лапы, будто меня тут и нет во-

все, будто я часть утреннего тумана, столб или куст, который имеет полное право перемещаться по пустырю, но не заслуживает того, чтобы из-за него напрягать мышцы.

Останавливаюсь в паре метров от забора. Достаточно близко, чтобы разглядеть шерсть, не серую подшёрсток, как бывает у бродячих, а чистую, почти стерильную белизну, без единого пятна, без свалявшихся колтунов, которые обычно украшают деревенских котов к середине лета. Слишком чистая для твари, что живёт при курятнике и спит в сарае.

Ладно. Раз уж я тут стою, довожу эксперимент до конца, как положено бывшему следователю, который привык проверять гипотезы, а не плодить их на пустом месте. Хлопаю в ладоши, коротко, резко, звук получается неожиданно громким в утренней тишине, спугнувшей бы любую приличную птицу с ветки за пятьдесят метров.

Кошка не вздрагивает.

Ни намёка на то подёргивание ушей, которое случается у любого кота или кошки на звук, ни расширения зрачков, ни короткого инстинктивного шага назад. Она просто смотрит. Всё тем же ровным, немигающим взглядом, в котором нет ни страха, ни агрессии, ни кошачьего равнодушия, ни взгляда как на идиота, а есть что-то другое, чему я не нахожу названия и понимания, и от этого отсутствия названия мне становится неуютно сильнее, чем от самого хлопка.

- Ну и клиент, говорю я вслух, просто чтобы услышать собственный голос в этой утренней тишине, разбавленной

только далёким лаем да скрипом какой-то калитки дальше по улице.

- Глухая, что ли?

Кошка моргает. Медленно, в два приёма, как делают кошки, когда показывают человеку, что он им не угроза, я читал где-то, что это у них вроде поцелуя, знак доверия. Только в её исполнении это не похоже на доверие. Похоже на то, как смотрит человек, когда ему рассказывают анекдот, который он уже слышал не раз, и он из вежливости ждёт, пока рассказчик закончит.

На секунду, на одну короткую, предательскую секунду, в этом взгляде мне чудится узнавание. Не так, как узнают знакомого человека на улице, а иначе, будто меня здесь ждали, будто я не первый, кто стоит на этом пустыре и смотрит на эту кошку, и уж точно не последний. Будто у неё в голове, если допустить, что у кошек бывают такие мысли, крутится что-то вроде: «а, этот, ну, не ты один сюда ходишь».

Я тут же одёргиваю себя, причём делаю это с таким остервенением, что почти вслух фыркаю от нелепости происходящего. Приплыли, Власов. Стоишь посреди грязного пустыря в шесть утра, после бессонной ночи, проведённой в холодной машине с биноклем на груди, и ищешь скрытый смысл во взгляде кошки. Дальше что, начнёшь по звёздам судьбу читать? Тебе бы, дорогой мой, после такого не на заборы пялиться, а к наркологу записаться, или хотя бы к невропатологу, пусть проверит, не началось ли с тобой чего в сорок

шесть лет на почве хронического недосыпа и несвежего пива.

Уже собираюсь развернуться, рациональная часть меня давно требует этого, тянет к машине, к кофе из термоса на заднем сиденье, к дороге домой, как кошка вдруг соскальзывает с забора.

Движение занимает долю секунды, но что-то в нём неправильно устроено, как будто кто-то снял обычный кошачий прыжок на камеру слоу-мо и прокрутил запись чуть медленнее положенного, выровняв все углы, убрав дрожь и инерцию, которые должны быть в любом живом теле, падающем с высоты человеческого роста. Ни звука от удара лап о землю, хотя забор не ниже метра, ни единого шороха в траве под ним, хотя трава там густая, нескошенная, по колено. Кошка просто оказывается на земле, такая же белая, такая же спокойная, и в следующее мгновение уже огибает угол избы, скрываясь за домом с гибкостью, которая у настоящих животных появляется, только когда они убегают от чего-то действительно страшного, а не когда просто решают, что хватит сидеть на солнце.

Я стою ещё некоторое время, глядя туда, где она только что была, слушая собственное дыхание, оно почему-то чуть сбилось, хотя я не сделал ни единого резкого движения.

- Бродячая живность, говорю я вслух, уже сам себе в утешение, и голос звучит бодрее, чем мне кажется внутри.

- Деревня, мать её так, мистика. Тут и не такое привидится, если которую ночь глаз не смыкать.

Пожимаю плечами так, как будто кто-то смотрит на меня со стороны и ждёт этого жеста, подтверждения, что всё нормально, что мир стоит на месте и ничего особенного не произошло. Разворачиваюсь и иду к машине, уже не оглядываясь на дом с резными наличниками, на бурьян, забор, с которого минуту назад на меня смотрело что-то белое и слишком спокойное для живого существа. Туман в низине начинает редеть, где-то снова кукарекает петух, и я заставляю себя думать только о том, что через час мне нужно скинуть клиентке фотографии её неверного мужа и получить наконец свои деньги за эти бессонные ночи.

* * *

Машина выползает на асфальт за последними дворами Глинково, и туман, ещё минуту назад лежавший в низине плотным молоком, разом остаётся за спиной, здесь, на возвышении, воздух суше, светлее, и только на обочине блестит роса, которой через полчаса уже не будет. Я включаю дворники на пару движений, смахнуть осевшую за ночь морось со стекла, и веду машину к трассе, стараясь не думать больше ни про какую кошку, с забором ни про то, с каким звуком, вернее, с каким его отсутствием, белое тело коснулось земли. Дорога разворачивается привычной лентой, сначала редкие избы, потом сосны, потом указатель на Москву с облупившейся от времени краской, а потом, чем ближе к коль-

цу, тем очевиднее, туман подмосковного утра начинает смешиваться с другим туманом, более плотным, жёлто-серым, который никогда не рассеивается и который местные синоптики из вежливости называют дымкой, а все остальные просто смогом.

Я веду машину одной рукой, второй машинально нашариваю в бардачке калькулятор на телефоне, хотя цифры я и так знаю наизусть, просто люблю себя помучить лишний раз. Марина Бородина обещала пятнадцать тысяч за ночь слежки плюс фотографии в виде доказательства, сумма, которая пять лет назад показалась бы мне оскорблением, а сегодня выглядит почти приличным гонораром. Из этих пятнадцати тысяч минус бензин туда-обратно, минус аренда объектива, который я так и не выкупил до конца, минус процент банку за кредит на машину, и в сухом остатке получается цифра, на которую не проживёшь толком даже неделю в этом городе, где квартира-студия в хрущёвке на окраине стоит дороже, чем когда-то стоила трёхкомнатная у Патриарших. Бензин вчера опять подорожал, я заметил на заправке в Икше, глянул на табло и присвистнул так, что заправщик на меня странно посмотрел.

Москва жрёт. Жрёт деньги, жрёт время, жрёт смысл, методично, без азарта, просто потому что так устроена, как мясорубка, через которую нужно пропускать себя каждый день, чтобы получить на выходе фарш, годный хоть на что-то. Я

когда-то читал, что вся страна кормит одну эту воронку - деньги из регионов стекаются сюда, как вода стекается в самую низкую точку рельефа, а там, в провинции, остаются выжженные поля, закрытые заводы и люди, которые в тридцать пять выглядят на пятьдесят от того, что единственная работа в радиусе ста километров, это вахта в столице за гроши, которые здесь считаются грошами, а дома, почти состоянием. Я сам родом из такого городка, хотя давно стараюсь об этом не вспоминать вслух, и давно знаю на собственной шкуре, что ненависть к Москве у тех, кто остался там, не метафора и не зависть - это чистейший дистелят, в которой на одной чаше весов детский сад с протекающей крышей, а на другой, очередной небоскрёб из стекла, который будет пустовать наполовину, потому что офисов в городе уже больше, чем людей, готовых их арендовать.

Дорога идёт ровно, машин на встречке немного, час ещё слишком ранний для основного потока, и в этой ровности есть что-то убаюкивающее, отчего мысли сами начинают соскальзывать в сторону, куда я их обычно не пускаю. Сын. Имя даже про себя стараюсь не произносить лишний раз, будто оно горячее и обжигает, если держать его в голове слишком долго. Пять лет назад, просто ушёл из дома в школу и не вернулся, и вся система, которой я отдал двадцать с лишним лет жизни, вся эта машина уголовного розыска, в которой я сам когда-то крутил шестерёнки, не нашла даже

следа. Ни телефона, ни записи с камер, ни единого свидетеля, как будто город его проглотил целиком, не прожевав, и даже не рыгнул. А потом Елена, жена, попала в аварию на Калужском шоссе, так мне сказали, так я хоронил пустой гроб, потому что от машины после удара грузовика остался металл размером с чемодан. Два горя за полгода, и после второго из них я перестал пить просто для настроения, и начал пить, чтобы заснуть, а лицензию потерял уже после, за дело, в которое сам не до конца верил, что оно того стоило.

Хватит.

Я тянусь к радио раньше, чем успеваю додумать мысль до конца, и кручу верньер, старая машина, старая магнитола, никаких тебе умных колонок и голосовых помощников, зато честно, без подвоха. Ловлю какую-то волну с новостями, где диктор бодрым голосом рассказывает про рост курса доллара и про очередную инициативу по цифровизации чего-то там, и я прибавляю громкость ровно настолько, чтобы голос заполнил салон и не оставил места для мыслей о сыне и о гробе, в котором лежал чужой, обугленный металл вместо жены. Становится легче, или мне только хочется так думать, за окном уже тянутся первые пригородные склады и автосервисы, воздух густеет, запах травы сменяется запахом разогретого асфальта и выхлопов, и МКАД маячит впереди бетонной дугой, за которой начинается уже совсем другая география, не связанная ни с какими деревнями и заборами.

Телефон звонит внезапно, резко, обрывая диктора на се-

редине фразы про ставку рефинансирования, и я чуть не упускаю руль, потянувшись к подставке на панели. Номер на экране незнакомый, с московским кодом, без имени в записной книжке, и я смотрю на него секунду дольше, чем требуется, прежде чем принять вызов, привычка, оставшаяся с тех времён, когда незнакомые номера чаще всего означали либо беду, либо начальство, а эти две вещи по сути одно и то же.

- Власов, говорю я вместо приветствия, прижимая телефон плечом к уху и держа обе руки на руле, потому что впереди уже начинается поворот на кольцо.

- Артур Иванович Власов? голос ровный, поставленный, с той вежливостью, которая обычно стоит денег или прячет угрозу, а чаще и то и другое сразу.

- Он самый. Если насчёт кредита, я уже слышал про рефинансирование по радио, спасибо, не нуждаюсь.

На том конце короткая пауза, будто собеседник обдумывает, стоит ли реагировать на шутку, и решает не стоит.

- Меня зовут... Впрочем, это неважно, говорит он, и в этой фразе столько спокойной уверенности, что я почти верю, действительно неважно, причём не потому, что скрывает, а потому, что имя давно перестало что-то значить рядом с тем, кого он представляет.

- Я звоню от имени клиента с серьёзными ресурсами. Вопрос срочный и деликатный.

Поворот на кольцо я прохожу чуть резче, чем следовало,

машина чуть кренится, и я перехватываю руль одной рукой, прижимая телефон к уху плечом сильнее.

- Серьёзные ресурсы у нас сейчас называют по-разному, говорю я. - От банка до братвы. Вы к какой категории?

- К той, что готова заплатить за результат, не задавая лишних вопросов о методах. Полмиллиона долларов, Артур Иванович. Наличными, либо в криптовалюте, как вам удобнее.

Я молчу секунды три, может, четыре, и за это время успеваю мысленно пересчитать эту цифру три раза, каждый раз получая один и тот же результат, в который по-прежнему не верю.

- Повторите сумму, говорю я, стараясь, чтобы голос звучал так же ровно, как у него, хотя внутри что-то дёрнулось так, будто сработала сигнализация.

- Полмиллиона долларов. За семьдесят два часа работы.

Веду машину дальше, бетонная арка эстакады проплывает над лобовым стеклом, и мысли, которые минуту назад были заняты дочерью и пустым гробом, вдруг освобождают место для совершенно другой арифметики, долги за аренду офиса, которого у меня больше нет, ипотека на квартиру, из которой жена выехала раньше, чем успела в ней пожить, бензин, страховка, та проклятая камера с объективом, который я покупал в рассрочку и всё ещё не выплатил.

- За такие деньги обычно просят либо убить кого-то, либо найти то, что лучше бы не находилось, говорю я. - Что из из

этого, вам нужно?

- Найти человека, пропавшего. Молодую женщину.

- Родственница клиента?

- Это уточнение не входит в условия разговора. Голос не меняет тона ни на градус, как будто я спросил про погоду и получил вежливый отказ отвечать и на это тоже.

- Условия простые. Никакой полиции, никаких вопросов сверх необходимого для выполнения задачи. Полная конфиденциальность с обеих сторон.

- А если я спрошу, почему не полиция? У них, знаете, ресурсы тоже не самые скромные, и бесплатно.

- Потому что клиент выбрал вас, говорит голос, и в этой фразе я слышу что-то вроде лёгкой иронии, будто собеседник знает обо мне больше, чем я рассказал бы сам при знакомстве.

- Бывший следователь МУРа с опытом розыска пропавших без вести. Человек, который умеет не задавать вопросов, когда ему хорошо платят. Разве не так вы себя рекомендуете клиентам?

Я мог бы ответить, что рекомендую себя как угодно, лишь бы заплатили, но вместо этого просто веду машину дальше, глядя, как смог над МКАД густеет и теряет утреннюю прозрачность, превращаясь в привычную грязно-жёлтую взвесь, которую москвичи называют воздухом по привычке, а не по сути.

- Мне нужно подумать, говорю я.

- У вас есть час, отвечает голос без малейшей заминки, будто ждал именно этой реплики.

- Встреча назначена на сегодняшний вечер, место сообщим дополнительно, если согласитесь. Ответ нужен до двенадцати дня.

- А если не успею подумать за час?

- Тогда мы обратимся к другому специалисту, Артур Иванович. Время для клиента сейчас дороже денег.

Я молчу ещё секунду, и в этой паузе та часть меня, что двадцать с лишним лет носила погоны и привыкла доверять только фактам, которые можно пощупать, тихо советует послать весь этот разговор к чёрту, положить трубку и доехать до дома спокойно, без полумиллиона долларов и без сделки, условия которой звучат слишком чисто, чтобы быть честными. Но другая часть, та, что устала считать копейки после развода и потери лицензии, та, что видела, как цены на аренду растут быстрее зарплаты, уже прикидывает, сколько долгов можно закрыть одним махом и сколько месяцев не думать о деньгах вообще.

- Хорошо, говорю я. - Я согласен на встречу. Присылайте адрес.

- Разумное решение, говорит голос, и впервые за весь разговор в нём проскальзывает что-то похожее на удовлетворение, едва заметное, как лёгкий сквозняк под закрытой дверью.

- Ждём вас.

Связь обрывается без прощания, коротким щелчком, и я опускаю телефон на подставку, чувствуя, как по спине пробегает холодок, которому я не нахожу объяснения, то ли от суммы, то ли от того, как легко я согласился, не спросив даже имени женщины, которую предстоит искать.

Бросаю взгляд в зеркало заднего вида, просто по привычке, проверить, не висит ли кто на хвосте, и на долю секунды там, далеко позади, там, где асфальт изгибается у поворота, за которым давно скрылась деревня с её петухами и печным дымом, мне мерещится белое пятно на дороге, низкое, неподвижное, будто кто-то бросил посреди трассы клок тумана, забытый утром и не растаявший.

Моргаю, досадуя на усталость после бессонной ночи, и снова смотрю в зеркало.

Дорога пуста.

Глава 2

Съёмная квартира встречает меня всё тем же, что и всегда, как и три года назад, когда я её снял, сырой штукатуркой и чужим табачным духом, который никакая вентиляция не выветрила до конца, так как никотин въелся в сами стены. Хозяин квартиры, говорил что здесь жил пенсионер, тихий, непьющий, умер своей смертью. Я ему не верю все эти три года, но дешевле варианта в этом районе не нашёл, а искать получше означает тратить время, которого у меня и так не хватает, его даже на нормальный сон часто нет.

Сажусь за стол, где ноутбук лежит рядом с пустой банкой из-под кофе, и открываю папку с фотографиями. Марина Бородина заказала мужа два месяца назад, когда заподозрила, что он опять мотается к любовнице в Одинцово вместо командировок в Петербург. Я провёл в Глинково три дня, фотографировал, пока спина не превратилась в кусок дерева, и вот результат, сорок два кадра в общем, и на многих из них гражданин Бородин в одних трусах пьёт чай на веранде чужой избы с женщиной, которая точно не его двоюродная сестра, как он объяснял жене по телефону.

Выбираю десять самых наиболее недвусмысленных снимков, где лица видны чётко, без всякого простора для сомнений и адвокатских возражений, и отправляю их в мессенджер одним архивом. Текст пишу коротко «Дело закрыто.

Остаток по нашему договору - сегодня». Марина отвечает почти сразу, видно, сидела с телефоном в руке все эти дни, ждала. Пишет одно слово «Сволочь». Не уточняет, кому адресовано, мужу или мне, но через минуту приходит уведомление о переводе.

Пятнадцать тысяч, открываю приложение банка, смотрю на цифру после списания комиссии, и она оказывается чуть меньше, чем я рассчитывал, потому что ублюдочный банк берёт свой процент за то, что просто перегоняет чужие деньги с одного счёта на другой, не делая вообще ничего полезного. Я когда-то думал, что воры сидят в тюрьмах. Теперь знаю, что все главные ворюги, сидят в офисах с видом на Москву-реку и получают премии за эффективность, когда придумывают очередной способ ограбить людей.

Откидываюсь на стуле, и в голове сама собой начинается счёт, тот самый, что я повторяю почти каждый вечер, будто это молитва, только вместо бога у меня цифры в выписках.

Ипотека за трёшку на Ленинском, где я не живу уже пять лет, с тех пор как Лена ушла... а квартиру оставили пустой, потому что ни продать по-хорошему, ни въехать обратно я не смог себя заставить. Сорок одна тысяча в месяц. Кредит за камеру и объективы, взятый после того, как старую аппаратуру изъяли вместе с лицензией, сам виноват, не рассчитал проценты, когда брал. Двенадцать тысяч. Аренда машины, потому что своя сгнила на штрафстоянке три года назад

и выкупать её оказалось дороже, чем просто завести новый договор лизинга. Восемнадцать тысяч. Плюс эта квартира, плюс еда, плюс бензин, который за последний год подорожал так, будто он не у нас пол ногами, а везут с Луны, что я начал вести счёт заправкам отдельной строкой, как будто это может что-то изменить, и сделать его дешевле.

Пятнадцать тысяч от Бородиной закрывают с натяжкой неделю, может быть, полторы, если экономить на пиве и не заправляться под завязку.

Я смотрю на экран телефона, где лежит входящий номер, с которого мне час назад звонили насчёт полумиллиона долларов, и цифра эта не укладывается в голове так же, как не укладывается температура минус сорок в июльский полдень, или то, что есть честные банкиры и депутаты. Мои клиенты, обычные обыватели, те, что приходят через сарафанное радио или через объявление в районной группе, платят от десяти до пятидесяти тысяч рублей за дело. Самый жирный заказ за последние два года, развод промышленника с Рублёвки, принёс триста тысяч, и то я потом месяц не мог толком заснуть, ожидая, что его адвокаты найдут повод не заплатить вторую половину, да ещё и заставят отдать аванс.

А тут человек по телефону, даже не назвавший своего имени, предлагает полмиллиона долларов. Не рублей. Долларов.

Кручу в руках эспандер, сжимаю его раз, другой, третий,

слушая, как скрипят пружины, и думаю о том, что годы работы в органах научили меня одной простой вещи, если сделка выглядит слишком чистой, в ней спрятан нож, и вопрос только в том, в чьей он руке окажется, когда вылезет наружу. Условия звучат так, будто их придумывал юрист с хорошим образованием и плохим опытом общения с реальными людьми. Никакой полиции. Никаких других контор. Семьдесят два часа. Это не то, как нанимают частного детектива, искать сбежавшую жену с любовником. Это то, когда нанимают человека, который должен молчать потом столько же, сколько искал.

Я не намерен соглашаться вслепую. Хватит с меня историй, в которых я узнавал правду последним, уже когда она переставала быть полезной. Сначала нужно понять, кто стоит за этим голосом, прежде чем ехать куда-то вечером по адресу, который мне ещё даже не прислали. Беру телефон и листаю контакты вниз, мимо имён, которые давно не звонят и которым я давно не звоню, пока не нахожу то, что искал.

«Гриднев В.С.»

Последний разговор с ним случился два года назад, короткий и неловкий, на похоронах общего знакомого, где мы оба делали вид, что между нами не осталось ничего, кроме служебной вежливости. Виктор дослужился до подполковника там, где я когда-то дослужился до майора, прежде чем всё рухнуло из-за дела, которое я до сих пор считаю правильным, а начальство считало иначе. Он не звонил мне с тех пор

не из злобы, а из брезгливости, какую приличный человек испытывает к тому, кто упал и пытается подняться, цепляясь не за те вещи.

Смотрю на номер ещё несколько секунд, вспоминая, что идёт вторая половина дня и он наверняка на службе, потом нажимаю кнопку вызова, прежде чем успеваю передумать. Гриднев не берёт трубку сразу, а я успеваю досчитать до семи гудков, прежде чем в динамике раздаётся его голос, усталый и чуть простуженный, будто он только что вышел с совещания, на котором его заставили кивать дольше, чем положено человеку в здравом уме.

- Власов, говорит он вместо приветствия, и в этом одном слове умещается всё, от удивления, что я ещё жив, и раздражение, что я снова всплыл именно тогда, когда у него нет настроения на старых знакомых.

- Витя. Есть минута?

- У меня их никогда нет. Короткая пауза, в которой слышно, как где-то рядом хлопает дверь и кто-то смеётся чужим голосом. - Чего тебе, Артур.

- Нужна услуга, маленькая, пробить один номер.

Он молчит так долго, что я успеваю представить, как он морщится, как морщился всегда, когда моя фамилия звучала в коридорах управления после того дела, из-за которого меня выставили, будто я не бывший коллега, а запах протухшей рыбы, который завёлся в кабинете и никак не выветрится.

- Через час у меня окно, говорит он наконец, и в голосе у него нет ни тепла, ни желания, только расчёт человека, который знает, что проще отделаться один раз, чем выслушивать звонки неделю.

- «## (Глупыш)»у метро, знаешь такую? Забегаловка с корейской лапшой. Пятнадцать минут, не больше. У меня совещание в три.

- Буду.

Он кладёт трубку, не прощаясь, и я сижу ещё какое то время с телефоном в руке, глядя на погасший экран, в котором отражается моё лицо, помятое и небритое, как будто весь этот разговор уже успел меня состарить на пару лет.

Забегаловка оказывается именно такой, какой и должна быть забегаловка возле станции метро в середине дня, запах пережаренного масла, липкие столы, вытертый линолеум, на котором отпечатались тысячи подошв, спешивших куда-то и не заметивших, куда именно спешили. Гриднев приходит на семь минут позже назначенного, в форме, из-под которой выпирает живот, появившийся за эти годы, и садится напротив меня без приветствия, оставив фуражку на соседнем стуле, как будто боится, что её кто-то украдёт, и это единственное, что в нём осталось от прежнего Виктора, которого я помню.

- Диктуй, говорит он, доставая телефон и открывая приложение, которого у меня никогда не будет, потому что оно

привязано к служебной базе и слетит с моего аккаунта в тот же день, когда кто-то наверху решит проверить логи.

Я называю номер по памяти, и он вбивает его двумя пальцами, не торопясь, с видом человека, который делает одолжение исключительно из вежливости и собирается закрыть вопрос как можно скорее.

- Так, говорит он, глядя в экран, и брови его сходятся к переносице. - ООО «Прометей-Консалт». Зарегистрировано месяц назад. Он поднимает на меня взгляд. - И уже ликвидировано.

- Как это ликвидировано?

- Так и ликвидировано, Артур. Открыли, прогнали через него что-то, может, зарплатный проект, может, просто номер привязали, чтобы было на что звонить, и закрыли. Юридический адрес в Одинцово, по которому, готов спорить, стоит жилой дом без единого офиса. Учредитель, физлицо, судя по паспортным данным, человек с таким именем в природе не существует.

Он произносит это буднично, привычно, как будто диктует сводку, и от этой будничности мне становится не по себе сильнее, чем если бы он нахмурился и начал пугать.

- А по имени пробить можешь? Девушка, Анна. Фамилии не знаю.

- Шутишь. Витя смотрит на меня так, будто я попросил его найти иголку в Москве-реке. - По одному имени, без фамилии, без даты рождения? Я тебе не пророк, Артур.

- Хотя бы заявление о пропаже, возможно, кто-то искал её последние дни.

Он снова тычет пальцем в экран, уже менее охотно, бормочет что-то про то, что я отнимаю у него обеденный перерыв, но всё же вбивает запрос в розыскную базу, щурится на результат и качает головой.

- Пусто, по Москве нет ничего. По области, ситуация аналогичная. Он кладёт телефон на стол и смотрит на меня уже внимательнее, тем взглядом, которым раньше смотрел на подозреваемых, когда понимал, что те чего-то недоговаривают. - Кто тебе это дал, Артур?

- Позвонили, не представились.

- И сколько обещают?

Я молчу дольше, чем следовало, и этого хватает, чтобы он всё понял без цифр.

- Полмиллиона, говорю я всё-таки, потому что скрывать от него уже бессмысленно. - Долларов.

Гриднев присвистывает тихо, почти беззвучно, и откидывается на спинку стула, который скрипит под его весом.

- Такие деньги просто так не дают, говорит он, понижая голос, хотя рядом никого, кроме уставшей женщины за соседним столом, уткнувшейся в телефон. - Это не бывший муж ищет жену, которая сбежала с молодым любовником в Петербург. Фирма-прокладка, которую закрыли через месяц после открытия, девица без фамилии, которой нет в розыске нигде, и сумма, за которую люди обычно убивают, а не ищут.

Он качает головой, и в этом жесте я вижу то же самое, что видел два года назад на похоронах, брезгливость к человеку, который снова лезет не туда, куда следует. - Не влезай, Власов. Серьёзно. Есть дела, за которые не берут деньги, даже если очень нужно, и очень хочется денег. Хотя, ты же всё равно полезешь, не так ли? Ничему тебя жизнь так и не научила, Артур...

И Виктор встаёт раньше, чем я успеваю ответить, надевает фуражку и уходит, не оглянувшись, оставив меня одного за липким столом с запахом пережаренного масла и ощущением, что я только что узнал меньше, чем хотел, и больше, чем мне было по-настоящему нужно для спокойного сна.

* * *

В начале одиннадцатого телефон вибрирует коротким смс без имени отправителя, бизнес-центр, Пресненская набережная, башня, которую я про себя называю просто «стекляшкой с короной», двадцать седьмой этаж. Больше ничего, ни номера кабинета, ни фамилии заказчика, да хотя бы намёка на то, как мне представиться на входе. Я перечитываю сообщение дважды, будто во второй раз в нём появится что-то, чего не было в первый, и убираю телефон во внутренний карман куртки, рядом с диктофоном, который достаю и проверяю заново, хотя проверял его дома перед выходом и знаю, что батарея заряжена под завязку.

Москва-Сити в этот час светится так, что кажется отдельным городом, который построили специально для тех, ко-

му не нужно ездить на метро и переживать из-за пробок на Ленинском. Я паркуюсь на подземной стоянке, где парковка стоит как половина моего месячного дохода, и сижу в машине на минуту дольше, чем нужно, слушая, как остывает двигатель и тикает скрипя что-то в приборной панели. Гриднев сказал не влезать. Я влезаю, потому что долги не спрашивают моего мнения насчёт того, во что ввязываться, а пятнадцать тысяч от Бородиной за вычетом комиссии банка закрывают разве что верхушку долгов.

В холле башни, мрамор, который, судя по всему моют каждые два часа, и охрана, что смотрит сквозь меня, пока я называю этаж на ресепшене. Девушка за стойкой сверяется с планшетом, кивает без улыбки и выписывает пропуск, в графе «компания» которого стоит прочерк. Я смотрю на этот прочерк дольше, чем положено смотреть на бланк пропуска, и она, не поднимая глаз, добавляет, что лифт направо, последний в ряду.

В лифте пахнет чистящим средством с ароматом, который должен быть приятным, но напоминает почему-то о больничном коридоре. Панель с кнопками выглядит как в любом бизнес-центре, ряды цифр, подписанных названиями компаний рядом, логотипы юридических фирм, консалтинговых контор, одного банка, который я узнаю по рекламе на каждом углу. Напротив двадцать седьмого этажа - пусто. Ни единой буквы, ни привычного значка, только цифра, вытравлен-

ная в металле, как будто её забыли подписать, а потом решили, что так даже лучше.

Нажимаю её и смотрю в угол кабины, где закреплена камера наблюдения, обычная, круглая, в чёрном корпусе. Рядом с объективом должен гореть красный огонёк, если запись идёт, я столько лет проверял такие камеры на допросах и обысках, что делаю это машинально, не задумываясь. Огонёк не горит, может, перегорел. А может, и не было его никогда, просто корпус для вида, бутафория для тех, кто поднимет голову и успокоится при виде объектива. Я поднимаю голову и не успокаиваюсь.

Лифт идёт вверх плавно, почти без звука, и это тоже не нравится мне больше, чем должно бы, в обычных зданиях лифты скрипят, дёргаются на этажах, шумят вентиляцией. Этот работает так, будто его смазывали и налаживали вчера.

Двери открываются на двадцать седьмом, и первое, что я замечаю, тишина. Но не та, рабочая тишина, которая бывает поздним вечером в опустевшем офисе, когда слышно, как работает система кондиционирования и мигают экраны заставок на компьютерах. Эта тишина из тех, будто этаж накрыли толстой и большой банкой. Я выхожу из лифта в коридор с мягким ковровым покрытием, которое глушит шаги так, что я сам себя не слышу, и оглядываюсь в поисках стойки ресепшена, таблички с указателем, хоть чего-то, что подскажет, куда идти дальше.

Ничего нет, даже секретарши за столом, как и охранника

у поста, хотя внизу, судя по количеству машин на парковке и светящимся окнам башни снаружи, здание набито людьми под завязку в этот вечерний час. Коридор тянется налево и направо, обе стороны одинаково пусты, лампы под потолком горят ровным белым светом, и этот свет почему-то кажется мне холоднее, чем должен быть обычный офисный свет на фотолюминесцентных панелях.

В конце коридора, там, куда ведёт стрелка на полу, тонкая, едва заметная линия другого цвета ковролина, я нахожу единственную дверь без таблички с названием компании. Просто номер, выгравированный на металлической пластине - 2704. Но логотипа нет, как и фамилии директора, даже скромной вывески вроде «юридические услуги» или «консалтинг», которыми обычно прикрывают всё, что угодно, от отмывания денег до продажи поддельных лекарств, или работорговли.

Я стою перед этой дверью дольше, чем следовало бы, слушая, как где-то за стеной гудит вентиляция, и спрашивая себя, какого чёрта я делаю здесь, без напарника, оружия, и единой вменяемой зацепки о том, кто меня позвал и зачем, поднимаю руку и стучу.

Дверь открывается внутрь так быстро, что я думаю, меня ждали за ней всё это время, прижавшись ухом к дереву.

На пороге, худой мужчина лет сорока, в костюме, который стоит больше, чем я зарабатываю за два пару лет слежки за

неверными мужьями, тёмно-синий, с едва заметным отливом, сшитый так, что сидит на угловатой фигуре без единой складки, как будто ткань сама знает, где должна лежать. Галстук затянут туго, под самое горло, хотя час поздний и всякий нормальный человек в это время уже ослабил бы узел хоть на палец. Волосы зачёсаны назад с той аккуратностью, которая требует либо геля, либо нечеловеческого самоконтроля.

- Игорь Соколов, говорит он и протягивает руку с визиткой, не называя себя раньше, чем успеваю кивнуть в ответ.

Я беру визитку двумя пальцами, привычка, оставшаяся с тех лет, когда любая бумажка могла стать вещдоком. Плотный картон, белый, без тиснения и логотипа. Имя напечатано простым шрифтом, никаких завитушек, и должности под ним. Как и номера телефона, с электронной почтой, ни адреса офиса, где я, собственно, и стою в данный момент. Я переворачиваю карточку, обратная сторона такая же пустая, как и его взгляд, который он упорно держит где-то между моим левым плечом и стеной за моей спиной.

- Проходите, Артур Сергеевич, говорит он, и в том, как он произносит моё отчество, слышится лёгкая заминка, будто он только что вспомнил, что его положено произносить.

Кабинет за дверью оказывается именно таким, каким я его и представлял, стоя в коридоре, пустым. Не в смысле необставленным, мебель вся на месте, стол из тёмного дерева, два кресла с другой стороны, книжный шкаф у стены, набитый корешками в кожаных переплётах. Но ни на столе, ни на полках нет ни единой личной вещи. Ни одной фотографии в рамке, привычной кружки с логотипом конторы, брошенной ручки с прогрызенным колпачком, даже пыли нет, если уж на то пошло. Книги в шкафу стоят слишком ровно, будто их расставили по линейке только что. Пахнет свежей краской и чем-то ещё странным, едва уловимым, сладковатым, как от цветов, которых в комнате нет.

Соколов садится за стол, не предлагая мне сесть первым, что само по себе уже говорит о его манерах больше, чем любая визитка. Я опускаюсь в кресло напротив, чувствую под ладонью холодную искусственную кожу, и жду, пока он заговорит. Он не торопится, зато торопятся его пальцы, правая рука тянется к левой манжете, поправляет запонку, потом снова, хотя запонка и так сидит ровно.

- Я представляю интересы клиента, который предпочитает оставаться анонимным, начинает он, и слова выходят быстро, как заученный текст, который боятся забыть на середине. - Нам стало известно о вашей репутации в вопросах, требующих деликатности и скорости.

- Репутация у меня так себе, говорю я. - Бывший мент, лицензия частного детектива, неверные жёны и мужья, должники, которые прячут активы от приставов. Не то чтобы уровень «деликатность и скорость».

- Именно это нам и нужно, отвечает он, и впервые за весь разговор его взгляд на задерживается на мне, после чего снова соскальзывает куда-то в сторону книжного шкафа. - Человек без лишних связей. И обязательств перед структурами, которые задают вопросы.

Он тянется к папке на столе, которой секунду назад здесь не было, или была, просто я не заметил, и достаёт из неё одну-единственную фотографию. Кладёт её на стол передо мной, аккуратно развернув изображением вверх, как крупье выкладывает карту.

Женщина лет тридцати. Тёмные волосы собраны в простой хвост, лицо бледное почти до прозрачности, но не болезненно, скорее так, будто она никогда подолгу не бывает на солнце. Взгляд в объектив прямой, холодный и до странности уверенный для человека, которого фотографируют, видимо, без его ведома, отсутствие улыбки, напряжения, которое обычно есть у людей перед камерой, только спокойное, почти хищное внимание к тому, кто снимает.

- Анна, говорит Соколов. - Тридцать лет. Пропала четыре дня назад. Нам нужно её найти в течение семидесяти двух часов.

- Полиция? спрашиваю я, хотя уже знаю ответ.

- Исключено, отрезает он быстрее, чем следовало бы для человека, который хочет выглядеть спокойным. - Никакой полиции, или третьих лиц, привлечённых к поискам. Это условие не обсуждается.

- А гонорар обсуждается? Уточняю я.

Он называет сумму, не моргнув, не изменившись в лице, будто произносит цену на чашку кофе, пятьсот тысяч долларов. Половина сейчас, половина по результату, не важно, какому именно, живой, мёртвой, неважно. Я молчу дольше чем требуется, просто чтобы он не подумал, что меня это впечатлило, хотя внутри что-то холодеет и обрывается, как лифт, у которого перерезали трос.

- Кто она вам? спрашиваю я, кивая на фотографию.

Соколов снова поправляет манжету, на этот раз без всякой необходимости, и смотрит мимо меня, в пустое пространство кабинета, где не на чем зацепиться взглядом.

- Клиент предпочитает не афишировать степень родства, говорит он.

Ладно. Если родство, чужая территория, значит придётся заходить с другой стороны, с той, что мне знакома лучше любой фотографии.

- Хорошо, говорю я, отодвигая снимок на пару сантиметров, чтобы положить рядом блокнот, которого на самом деле мне не нужно, но люди в таких кабинетах любят видеть, как записывают их слова. - Тогда с самого начала. Где её видели в последний раз? Не в смысле «пропала четыре дня назад»

это я уже слышал. Квартира, работа, машина, телефон. Где она физически находилась перед тем, как исчезнуть из вашего поля зрения?

Соколов моргает чуть чаще, чем нужно для простого вопроса.

- В своей резиденции. На Рублёвке.

- Адрес?

- Это… он на секунду отводит взгляд к папке, будто там написан ответ, который он забыл выучить. - Закрытый посёлок. Я не уполномочен называть точный адрес на данном этапе. Вы получите его, когда подпишете соглашение о неразглашении.

- Хорошо, посёлок пока оставим. Кто видел её последним?

- Персонал резиденции.

- Какой персонал? Охрана, горничная, водитель?

- Да, говорит он и тут же, будто услышав сам себя, поправляется, - То есть, охрана, в основном охрана.

Я делаю вид, что записываю, хотя ручка не касается бумаги, просто вожу по странице, как рисуют дети, изображающие буквы. Смотрю на него не отрываясь, и от этого он ещё сильнее начинает поправлять манжету левой рукой, хотя правая до сих пор лежит на краю стола неподвижно, будто не принадлежит тому же телу.

- Кто заявлял о пропаже? спрашиваю я. - Вы сказали «нам стало известно». Кому, вам?

- Мне, говорит Соколов, и в этот раз пауза перед ответом

длиннее, чем все предыдущие. - Семья поручила мне заняться поисками.

- Семья. Чья семья, её или ваша?

- Её семья, быстро отвечает он. - Разумеется, её семья.

Я киваю, будто принимаю ответ, хотя на самом деле просто даю ему время запутаться ещё сильнее, потому что люди, которые врут по методичке, рано или поздно начинают путать роли в собственной легенде.

- Враги у неё были? Кто-то, кому выгодно её исчезновение? Долги, наследство, ревнивый бывший?

На этот раз Соколов молчит дольше обычного, и я вижу, как у него на виске чуть заметно пульсирует жилка, будто под кожей кто-то стучит костяшками пальцев изнутри, пытаясь выбраться.

- Это деликатный вопрос, говорит он наконец. - У её семьи есть… определённые отношения с другими сторонами. Конкуренция. Но это не должно касаться других кланов…

Он замолкает так резко, словно кто-то невидимый дёрнул его за язык посреди фразы. На секунду в кабинете становится совсем тихо, тише, чем было всю встречу, и даже гул вентиляции за потолочной панелью будто делает паузу вместе с ним.

- Других заинтересованных сторон, поправляется он, слишком быстро, слишком гладко для случайной оговорки. В кабинете, несмотря на духоту за стеклом, где июнь плавит асфальт на Пресненской набережной, холодно, как в морге,

и я ловлю себя на мысли, что кондиционер здесь, кажется, вообще не работает, просто откуда-то тянет холодом, будто из открытой форточки в подвал.

Слово «кланов» повисает у меня в голове отдельной строчкой, не желающей вставать в общий текст разговора. Я мог бы зацепиться, спросить напрямую, что за кланы он имел в виду, но решаю этого не делать, потому что богатые люди вообще любят говорить загадками, когда речь заходит о деньгах и конкурентах, называют бизнес войной, партнёров врагами, а сделки, сражениями. Может, у неё семейный холдинг делят между несколькими ветвями, и «кланы» здесь не больше чем красивое слово для скучной истории о наследстве.

- Хорошо, говорю я ровным голосом, убирая блокнот обратно в карман, хотя так и не написал в нём ни строчки. - Давайте о деньгах.

* * *

Деньги. Я считаю их в уме, полмиллиона долларов это не просто цифра, это ипотека за квартиру на Ленинском, закрытая одним движением руки, это кредит за камеру, которую я взял в рассрочку как последний дурак, поверивший, что хорошая оптика решит проблему с клиентурой. Это аренда машины, которую я выплачиваю третий год, будто она моя, хотя по документам принадлежит человеку, которого я видел один раз и забыл его лицо. За такие деньги можно год не

открывать приложение банка со страхом, что там снова минус. Можно год, а то и два, просто жить, и не считать, сколько осталось до того, как кончится месяц и начнутся звонки с требованиями заплатить, вернуть.

Я смотрю на фотографию Анны, лежащую между нами на столе, и понимаю, что уже всё решил, просто тяну паузу, потому что привык, привычка следователя не соглашаться сразу, даже когда внутри давно самому себе сказано «Да».

Где-то на краю мысли проступает сын. Не лицом, я давно перестал видеть его лицо, когда вспоминаю, вижу только размытое пятно, как на старой фотографии, которую слишком долго держали на свету. Пять лет без вести, без следа, и закрытого дела, просто папка, которую кто-то сунул в архив и забыл индексировать. Система, которой я отдал почти полжизни, не нашла её. Не нашла Лену, когда та, как тогда казалось, разбилась на трассе где-то под Петербургом, гроб, который хоронили пустым, потому что опознавать было нечего, и я до сих пор иногда думаю, что там, под землёй на Ваганьковском, вообще никого нет, просто ящик, набитый землёй и пустыми формальностями. Система, которой я служил, умеет находить виноватых и закрывать статистику, но она не умеет находить людей, которые кому-то дороги. Так что если какой-то безымянный клан или семья, холдинг, называйте как хотите, готова заплатить полмиллиона долларов за три дня моей работы, когда государство не потратило и рубля

сверх протокола, то это не странное предложение. Это, пожалуй, первое честное предложение, которое мне сделали за долгое время.

- Хорошо, говорю я, и слово выходит тяжелее, чем должно бы, будто падает не изо рта, а откуда-то из желудка. - Я берусь.

Соколов выдыхает, а не улыбается, плечи у него немного опускаются будто от облегчения, и впервые за весь разговор он выглядит так, будто действительно живой человек, а не манекен в костюме. Он встаёт, протягивает руку через стол, и я пожимаю её, ожидая того крепкого, слегка демонстративного хватка, какой бывает у людей его круга, у юристов, у тех, кто привык закреплять сделки рукопожатием на камеру. Вместо этого ладонь у него холодная и влажная, пожатие вялое, почти никакое, будто пожимаешь перчатку, набитую ватой. Странно для мужчины его роста и его должности. Я списываю это на нервы, человек весь вечер дёргался, как от зубной боли, с чего бы руке быть крепче остального.

- Благодарю вас, Артур Сергеевич, говорит он, и впервые называет меня по отчеству, будто это что-то меняет. - Вы не пожалеете.

- Это я решу сам, отвечаю я, убирая руку. - Документы.

Он наклоняется, достаёт из-под стола тонкую папку из тёмной кожи без логотипа и кладёт её передо мной. Внутри, распечатанные листы, несколько фотографий Анны под разными ракурсами, адрес, который ничего мне пока не говорит, список имён без пояснений, кто это такие. Поверх бумаг лежит конверт, плотный, тяжёлый настолько, что я сразу понимаю, там не пара купюр для вида, там настоящая пачка. Я беру его, взвешиваю на ладони, не открывая при нём, не из вежливости, просто привычка, не считать чужие деньги на глазах у того, кто их даёт.

- Здесь аванс, говорит Соколов. - Половина сейчас, половина по завершении, наличными, как вы и просили.

Я не просил наличными, но спорить с этим не вижу смысла, наличные даже лучше, меньше следов, меньше вопросов от налоговой, которая и так не в курсе большей части моих доходов последние годы.

- Отчитываться будете только мне, продолжает он, и в этот момент голос у него становится твёрже, почти деловым, впервые за весь вечер звучит без дрожи. - Лично. Никаких третьих лиц, протоколов, записей в общий доступ. Канал связи придёт отдельным сообщением в течение часа, зашифрованный, одноразовый. Уничтожите его сразу после завершения дела.

- Звучит как военная операция, а не поиск пропавшей родственницы, говорю я, не удерживаясь.

Соколов не отвечает на это. Он просто смотрит на меня, и впервые за весь разговор взгляд у него останавливается, перестаёт бегать по углам кабинета, задерживается на моём лице чуть дольше, чем нужно для простой вежливости, будто он взвешивает, сказал ли уже слишком много, или ровно столько, сколько позволено.

- Семьдесят два часа, Артур Сергеевич, часы уже идут. говорит он тихо.

* * *

Лифт закрывается с мягким шипением, и я остаюсь один с конвертом в руке и кожаной папкой под мышкой. Кабина без зеркал по правилам пожарной безопасности в большинстве бизнес-центров обычно обшита зеркальной сталью, тут не исключение, и я ловлю в ней собственное отражение, помятое, с мешками под глазами, которые за последние годы стали постоянной частью лица, а не следствием бессонной ночи.

Я открываю конверт на весу, большим пальцем отгибаю край пачки и считаю быстро, профессионально, как привык ещё в оперативной работе, когда приходилось пересчитывать изъятое при понятых. Сотенные, новые, без единой потёртой купюры, будто их только что сняли с печатного станка и даже не касались человеческих рук. Закрываю конверт, и убираю во внутренний карман куртки, застёгивая молнию. Половина сейчас, сказал Соколов. Это только за первые сутки.

Двери открываются в холле первого этажа, светлый, стерильный, с теми же рядами кожаных кресел у стены, что я видел на входе. За стойкой ресепшена сидит тот же охранник, крупный парень в чёрном костюме с гарнитурой в ухе, который полтора часа назад проверял мой паспорт и звонил кому-то наверх, уточняя моё имя. Я иду мимо стойки, в метре от него, не быстрее и не медленнее обычного, и жду, что он хотя бы кивнёт, как кивают охранники людям, которых только что пропустили наверх с конвертом денег.

Он не кивает, смотрит прямо перед собой, в стеклянную стену напротив, туда, где за толстым триплексом движется вечерняя Пресненская набережная, фары машин тянутся красными и жёлтыми лентами. Взгляд у него не скользит по мне, не задерживается, не регистрирует вообще ничего, будто между нами нет воздуха, а стена, через которую свет не проходит. Я чуть сбавляю шаг, почти останавливаюсь, но потом думаю, устал человек за смену, насмотрелся на лица, какая разница, кого пропускать, когда пропуск уже оформлен наверху. Толкаю стеклянную дверь и выхожу в ночь.

Снаружи ещё душно, июнь в этом году взял Москву за горло с самого начала месяца и не отпускает, асфальт у входа отдаёт накопленным за день теплом сквозь подошвы ботинок. Я иду к машине через подземный паркинг, сажусь, запираю двери изнутри, хотя обычно этого не делаю, пока не выехал. Кладу папку на пассажирское сиденье, открываю.

Фотография Анны лежит сверху, та же, что Соколов показывал на столе, тёмные волосы, холодный уверенный взгляд прямо в объектив, будто она сама знала, что её снимают, и не возражала. Под фотографией лист с адресом, который мне ещё предстоит пробить, список имён без единой пометки, кто эти люди ей, родственники, друзья, враги. И больше ничего. Ни заявления о розыске, фамилии, даты рождения, нет ни единой строчки о том, кто конкретно её ищет и почему готов платить полмиллиона долларов за семьдесят два часа молчания.

Завожу двигатель, старый дизель откликается не сразу, чихает дважды, прежде чем ровно загудеть. Бросаю взгляд на часы на приборной панели, двадцать два сорок одна. Часы уже идут, сказал Соколов, и он прав, они идут независимо от того, понимаю я правила игры или нет. Семьдесят два часа до того, как деньги перестанут иметь значение, а я так и не знаю, кто дал мне первую половину этой суммы, кто сидел в том кресле до того, как оно опустело в отражении зеркальной двери, и что вообще значит слово «кланы», оброненное нервным посредником и тут же торопливо исправленное на безобидное.

Я выруливаю из паркинга на набережную, вливаюсь в редкий поздний поток, и где-то в кармане куртки, рядом с тысячами долларов, лежит ощущение, что я согласился на что-то, правил которого не знаю и не узнаю, пока не станет слишком поздно спрашивать.

Глава 3

Часовня стоит здесь дольше, чем помнит об этом город, который вырос вокруг неё и забыл её имя. Когда-то, судя по остаткам фундамента, здесь была деревня, Воронцово ли, Коньково ли, не имеет значения, а теперь вокруг гаражные кооперативы, ржавый забор промзоны и три трубы ТЭЦ, дышащие в ночное небо низким рыжим светом. Крыша часовни обвалилась ещё при позапрошлом генеральном секретаре, стены держатся на упрямстве кирпича девятнадцатого века, а купол, срубленный то ли снарядом, или временем, оставил после себя дыру, через которую внутрь падает немного смога пополам со звёздами. Я выбираю такие места не из сентиментальности. Выбираю их потому, что земля здесь ещё помнит, каково это - быть освящённой, и память эта, пусть выцветшая, истоптанная равнодушием трёх поколений смертных, всё ещё держит на расстоянии то, что приходит на запах крови быстрее, чем следовало бы.

Я опускаюсь на одно колено у центра того, что было алтарной частью, и достаю из внутреннего кармана три флакона, толстого тёмного стекла, запечатанные воском, каждый подписан не чернилами, а выжженной на пробке меткой. Первая метка, простой круг, кровь смертного, взятая с рынка на Чертановской неделю назад у человека, который не вспомнит о проданной крови больше, чем о проданном часе вре-

мени. Вторая метка - полумесяц, кровь Сородича, вырванная из горла случайного фланёра клана Бруха этой же ночью, тело которого сейчас лежит в канаве в двух кварталах отсюда и будет найдено к утру, если найдётся вообще. Третья метка - ничего, пустой воск, потому что для своей крови метка мне не нужна.

Снимаю перчатку с правой руки, кожа под ней не бледнее и не темнее человеческой, просто слишком ровная, будто её ни разу в жизни не касалось солнце, и начинаю чертить. Линия идёт от центра наружу, затем расходится по окружности девятью лучами, по числу ключей, которых у меня до сих пор нет ни одного. Три капли смертной крови ложатся в основание каждого луча, крест-накрест с вампирской, а поверх - одна моя, тёмная настолько, что в свете редких звёзд, падающих через пролом купола, кажется не красной, а чёрной, будто чернила, которыми писали приговоры в те времена, когда приговоры ещё писали от руки.

Веду счёт не вслух. Мысленно, тем голосом, которым привык говорить с собой последние десятки и десятки тысяч лет, методичным, без спешки, и того жара, который смертные принимают за страсть, а я называю просто расточительством сил.

Первый шаг - найти место, где тонка грань. Найдено: здесь, под обвалившимся куполом, где кровь троих видов однажды уже пролилась, в тысяча девятьсот восемнадцатом, когда расстреливали попа и двух его служек прямо у этого

алтаря, не утруждаясь выводить за церковную ограду. Земля помнит.

Второй шаг - кровь трёх линий, пролитая в одном месте и в один час. Это не метафора и не каприз ритуала, придуманного для красоты. Это ритуал, старый, такой же неумолимый, как орбита планеты вокруг звезды. Смертная кровь держит круг в этом мире, не давая разговору уйти слишком далеко в сторону, откуда назад не возвращаются. Кровь Сородича - потому что именно Сородичи сторожат фрагменты пути, вплетённые в их собственную плоть теми, кто создавал первые тринадцать линий из страха, а не из любви. А моя кровь - потому что я единственный, кто желает найти дорогу, и спросить верно.

Третий шаг - Вопрос. И вот здесь я позволяю себе единственную роскошь за всю эту ночь: презрение.

Рай и Ад - две лавки под одной вывеской, думаю я, глядя, как капли моей крови впитываются в выщербленный камень, будто камень хочет пить. Один торгует спасением, второй, пороком, оба берут плату душами и оба называют это заботой о клиенте. Один обещает вечность в награду за послушание, второй, вечность в награду за грех, и ни тот ни другой ни разу, за всю историю торга, не предложили смертному того единственного товара, который действительно стоил бы его жизни - правды. Они боялись правды больше, чем боятся друг друга, потому что правда не продаётся, а значит, не

приносит процента ни одной из сторон. Лилит предложила правду бесплатно. За это её и распяли на звёздной руде, скованную шестью цепями, которые Рай и Ад выковали вместе - впервые в их долгой, лицемерной истории взаимной вражды они согласились друг с другом хоть в чём-то.

Я заканчиваю девятый луч. Круг замкнут, и воздух в часовне меняется не резко, а так, как меняется воздух перед дождём, которого ещё нет, плотнее, гуще, будто вот-вот начнётся.

У стены, там, куда я прислонил его, входя, стоит посох. Тёмное дерево, вырезанное не руками ремесленника, а кем-то куда более древним и терпеливым, со вставками потускневшего металла, который не ржавеет и не тускнеет дальше того состояния, в котором застыл сотни тысяч лет назад. Навершие, череп, но не человеческий и не звериный, с рогами, загнутыми назад и вниз, будто кланяющимися земле, из которой их когда-то вырвали вместе с остальным телом.

Посох начинает пульсировать.

Это едва заметно, ритм, похожий на медленное, тяжёлое дыхание чего-то, что спит очень давно и очень не хочет просыпаться, но вынуждено откликаться, когда рядом проливается достаточно крови. Навершие чуть теплеет, металл по древку отзывается мерцанием настолько слабым, что смертный глаз принял бы его за блик звезды в проломе купола.

- Хозяин балуется, шепчет посох, и голос этот не принадлежит дереву и металлу, он идёт откуда-то изнутри, из глубины, где заперто то, что когда-то носило имя и армию и считало себя неприкосновенным. - Кровь трёх родов, девять лучей. Кто-то соскучился по старой песне.

Я не поворачиваю головы.

- Хозяин думает, что в этот раз получится, продолжает шёпот, и в нём проступает что-то похожее на удовольствие, тонкое, издевательское, как улыбка человека, который знает секрет и наслаждается тем, что собеседник его не знает. - Аесли опять ни звука, ни крохи пути, что тогда? Ещё одна часовня, ещё одна ночь, ещё…

- Молчи.

Слово на мёртвом языке, которым я давно перестал пользоваться для чего-либо, кроме наказаний и запретов, падает в воздух часовни тяжелее камня. Оно не нуждается в переводе, потому что перевод всегда теряет главное, не смысл, а вес, с которым это слово ложится на того, кому предназначено. Пульсация в посохе обрывается мгновенно, будто кто-то одним движением придушил дыхание, и дерево снова становится просто деревом, мёртвым и неподвижным, каким и должно быть всё, что заперто внутри него уже больше трёх сотен тысяч лет.

Я поднимаюсь с колена. Круг под ногами подсыхает, и три вида крови, смешавшись на старом камне, темнеют одинаково, теряя оттенки, по которым можно было бы отличить

смертное от бессмертного, смерть в этом смысле честнее жизни, она уравнивает всех в цвете.

Формула этой ночи проста, и я знал её ещё до того, как переступил порог часовни: одной крови мало. Нужна не одна линия Сородичей, а несколько, пролитая в одном месте и в один час, чтобы круг заговорил достаточно громко для того, кто слушает с другого конца разорванной тысячелетиями связи. Три секты, собравшиеся по случайности или расчёту в одном здании этой ночью, дадут мне ровно то, что нужно, не просьбу, а стечение обстоятельств, которое я лишь слегка подтолкну в нужную сторону.

Пентхаус на Пресненской подойдёт. Я уже знаю это, хотя ещё не был там и не видел его стен, знаю так же, как знаю расположение звёзд, к которым однажды придётся лететь, если девять ключей когда-нибудь окажутся в одних руках. Остаётся узнать только время и повод, по которому три рода соберутся под одной крышей добровольно, подставив друг другу спины.

Для этого у меня есть другой собеседник, куда более разговорчивый, когда его к этому принуждают должным образом.

Посох, теперь его тёмное дерево льнёт к обломкам бывшей фрески, будто ищет в истлевших красках что-то родственное себе. Я подхожу, останавливаюсь на расстоянии вы-

тянутой руки и некоторое время просто смотрю на навершие, череп, выточенный не резцом, а памятью, потому что когда-то он держался на плечах живого существа, носившего имя и титул, прежде чем превратиться в клетку для того, что от этого существа осталось. Затем я кладу раскрытую ладонь на древко, ровно туда, где руны идут плотнее всего, и надавливаю, не рывком, а с той размеренной силой, с которой открывают дверь, зная, что по ту сторону её держат изнутри.

Руны под кожей теплеют мгновенно, словно я прижал ладонь не к дереву, а к животу спящего зверя, и дыхание под ней отзывается толчком. Голос приходит не сразу, сначала долгая пауза, в которой я чувствую, как он собирается там, в глубине, по частицам, нехотя, как собирают себя после долгого обморока. Потом он появляется, и в нём нет ни спешки, ни страха, только скука, отполированная почти четырьмя сотнями тысячелетий до блеска издёвки.

- Снова, говорит Небирос, и дерево под моей ладонью вибрирует в такт словам, будто сам голос ищет выход через волокна, через трещины коры. - Снова рука жреца без храма, который стучится в клетку демона без имени на вывеске. Сколько раз это было? Я сбился со счёта ещё тогда, когда твой мир считал века по урожаям.

- Достаточно раз, чтобы ты перестал ждать иного исхода, отвечаю я, не убирая ладони.

- О, я не жду исхода, смех в его голосе сух, как шелест осы-

пающейся извести. - Я жду зрителя получше. Ты приходишь слушать меня каждый раз, когда тебе нужно что-то украсть у ночи, а потом уходишь, и я снова один среди щепок и смолы. Почти четыреста тысяч лет, Кархайм. Твоя богиня успела бы состариться четыре раза, если бы её не заперли в камне раньше, чем она успела состариться один.

Я молчу, и молчание это не пустота, а взвешивание, сколько веса дать этим словам, чтобы не дать ни унции лишней. Небирос всегда бьёт туда, где, по его расчёту, должна быть рана, и чаще всего промахивается, потому что рана моя давно не там, где он её ищет.

- Ты служишь памяти той, кого даже спасти не смог, продолжает он, и в голосе появляется что-то похожее на удовольствие, тонкое, как игла под ногтем. - Я видел её закованной собственными глазами, жрец. Я стоял по другую сторону, когда шесть цепей ложились на неё одна за другой. Что это, если не поражение, длиной в жизнь всех смертных рас разом?

- Поражение, это когда перестают искать выход, говорю я, и голос мой остаётся ровным, лишённым того напряжения, которого он ждёт. - Я ищу его. А ты всё это время сидишь в дереве и жалуешься на скуку. Разница между нами не в том, кто проиграл войну, Небирос. Она в том, кто продолжает её вести.

- Громкие слова для существа, у которого даже кости не свои, шипит он, и дерево под рукой дёргается, словно кто-

то внутри пытается отдёрнуться, но не может, потому что бежать некуда.

- Ты забыл, за что тебя заперли, говорю я, и в этот момент я чуть усиливаю нажим ладони, не силой тела, а той силой, что идёт от рун, выжженных на коже под рукавом, той самой, что держит его в этом древке с тех пор, как я выдернул его из собственного дворца среди углей и пепла. - Напомнить?

Тишина внутри становится другой, не насмешливой, а настороженной, и это отличие я умею распознавать с точностью, с которой распознают шаг хищника за спиной.

- Ты предал тех, кому клялся служить, задолго до того, как я протянул руку и вытащил тебя из горящего зала, продолжаю я, и каждое слово ложится так же тяжело, как ложилось то, другое, мёртвое слово минутой раньше, только это уже не запрет, а приговор, вынесенный однажды и с тех пор лишь подтверждаемый. - Ты торговал своими же легионами Инфернальным Дворам ради кресла, которое и часа не продержало тебя на себе. Ты называешь меня служителем памяти побеждённой. Назови себя хоть раз тем, кем был на самом деле, и я, возможно, послушаю тебя дольше минуты.

Небирос молчит, и в этом молчании слышится не раскаяние, его демоны не знают, а расчёт, древний, въевшийся в самую структуру того, что от него осталось, расчёт, какую цену запросить за следующее слово. Я не тороплю его. Руны под ладонью разгораются ровнее, глубже, и я чувствую,

как где-то в глубине древка что-то поддаётся, не ломаясь, а именно поддаваясь, как поддаётся сустав под нужным углом нажатия.

- Ладно, голос его теряет ту гладкость, с которой он насмехался минуту назад, становится рваным, будто слова теперь приходится проталкивать через узкое горло. - У меня остались знакомые среди Инфернальных Дворов, ты знаешь это, жрец, не делай вид, что удивлён. Они всё ещё шепчут мне иногда, через щель, которую ты не удосужился заделать как следует. И этой ночью шёпот был занятным.

- Говори.

- Три рода, его голос дрожит теперь не от злости, а от того давления, которое я не ослабляю ни на волос. - Три Сородича сходятся сегодня в одной из башен на Пресненской набережной. Переговоры, негласные, без лишних глаз, без клановых знамён на входе. Бруха пришлют своих из Чертановской, ещё двое родов подтянутся из других концов города, кто-то даже из Воронцово, если верить тому, что я слышал, хотя мне в последнее время врут чаще, чем раньше, то ли мир изменился, то ли я просто разучился различать ложь, сидя в щепке дерева тридцать тысяч лет.

- Этой ночью, повторяю я, и чувствую, как узел внутри формулы, которую я собирал весь вечер, наконец защёлкивается на своё законное место.

- Этой ночью, эхом отвечает Небирос, и в голосе его проступает что-то похожее на облегчение, то самое, какое быва-

ет у существа, купившего себе ещё немного тишины до следующего раза, когда рука жреца снова ляжет на его клетку.

Я убираю ладонь с древка медленно, и в тот же миг произношу одно слово на языке, которого не слышали вслух уже тысячи лет, и которое не нуждается ни в переводе, ни в объяснении, потому что оно создано не для смысла, а для закрытия. Пульсация в дереве гаснет так же, как гасла прежде, будто захлопывается крышка, и посох вновь становится тем, чем должен казаться любому смертному глазу, мёртвым куском старого дерева с черепом на вершине, молчаливым и неподвижным.

Смотрю на него ещё мгновение, потом отворачиваюсь к выходу из часовни, туда, где за проломом купола уже видна багровая кайма московской ночи, подсвеченной снизу городом, который не спит никогда. Пресненская набережная. Три рода под одной крышей, добровольно, в одну ночь. Этого достаточно.

* * *

Память поднимается без спроса, стоит мне разжать пальцы на тёплом ещё от рун древке, и я позволяю ей подняться, потому что за без малого почти четыреста тысяч лет научился не бороться с тем немногим, что во мне ещё способно болеть.

В тот день небо над столицей Империи Андервейн было

цветом угля, не чёрным и не красным, а тем переходным оттенком, который бывает у пепла в последние мгновения перед тем, как ветер развеет его совсем. Город горел так давно, что дым над ним успел стать частью пейзажа, частью воздуха, которым дышали те немногие, кто ещё дышал. Я был тогда воином и учёным на службе учения, хранившего память о Праматери, одним из многих, не старшим, не самым сильным, но достаточно упрямым, чтобы остаться на стенах, когда остальные уже признали, что держать их бессмысленно. Три тысячи лет мы сражались против объединённых сил, которые сами себя называли непримиримыми, Рая и Ада, и каждый из нас верил, что видит перед собой войну двух абсолютных противоположностей, сошедшихся лишь потому, что иначе никто из них не выжил бы против нас поодиночке.

Я узнал правду в ночь, когда последняя линия обороны рухнула у южных ворот, и узнал её не из пророчества и не из откровения, а просто потому, что оказался не в том месте, где должен был умереть, а в том, где должен был увидеть. Я лежал за обрушенной колонной святилища, истекая кровью из раны, которую мне нанёс рыцарь-паладин с эмблемой шестикрылого на нагруднике, и видел, как на разрушенной площади перед храмом встретились двое - посланник Небесного Свода, всё ещё в сияющих латах, забрызганных тем, что осталось от моих братьев по оружию, и эмиссар Инфернальных Дворов, чья кожа отливала тем же маслянистым багрянцем, что и пламя вокруг. Их должна была разделять взаим-

ная ненависть, старая, как сам раскол мироздания. Вместо этого они говорили друг с другом так, как говорят давние партнёры по делу, утомлённые долгим рабочим днём.

Ангел жаловался, что доля душ, причитающихся Своду с этой кампании, окажется меньше оговорённого, потому что слишком многие защитники выбрали смерть в бою, а не покаяние перед концом, и это портит баланс в их пользу учёта. Демон смеялся коротким сухим смехом и отвечал, что для его Дворов это, напротив, прекрасная новость, потому что отчаявшиеся и гневные идут к ним охотнее кающихся, и предложил компенсировать разницу следующей партией, с восточных границ, где, по его сведениям, учение Праматери ещё держится в двух-трёх осколках. Они говорили о нас, о последних тысячах живых и мёртвых защитников памяти Лилит, как купцы говорят о партии зерна, пострадавшей от непогоды, спокойно, по-деловому, с лёгким сожалением о недополученной прибыли. Я лежал за колонной и слушал, и каждое слово входило в меня глубже, чем меч паладина, потому что меч можно было простить, а это, это было нечто такое, для чего прощения не существовало и не могло существовать.

Я понял тогда то, что осталось со мной на все грядущие эпохи - обе стороны лгут смертным и друг другу о непримиримой вражде, сохраняя её как удобную вывеску, а в действительности давно поделили между собой рынки душ и

крови, выставляя войну там, где давно царит сговор. Это понимание не принесло мне облегчения. Оно принесло только холод, тот самый холод, который с тех пор не покидал меня ни в одном теле, которое я носил, ни в одном столетии, которое пережил.

В разгар той же ночи, уже на подступах к последнему бастиону, я взял в плен раненого Небироса, тогда ещё не голос в дереве, а архидемона во плоти, одного из тех, кто командовал передовыми отрядами Инфернальных Дворов в этой кампании. Он лежал среди обломков с перебитым крылом, беспомощный, и я мог убить его одним движением, мог отомстить хотя бы одному из участников того сговора, который только что подслушал. Вместо этого я взял жертвенный клинок, который выковал годами раньше для совсем других целей, и сотворил над поверженным демоном ритуал запечатывания, который до того существовал лишь в теории, в свитках, которые мы изучали вместе с последними жрецами Праматери. Я заплатил за это своей плотью - клинок прошёл через собственную ладонь прежде, чем коснулся демона, и кровь моя смешалась с его кровью в формуле, которая должна была не убить, а заключить, навеки привязать свидетеля той лжи ко мне, чтобы он носил эту правду в себе так же, как я ношу её в памяти. Боль была такой, что я не закричал только потому, что голос отказал мне раньше, чем сознание. Небирос с тех пор стал частью древка моего посоха, пленником, которого я ношу с собой как живое доказательство того,

что видел, потому что мёртвые свидетели ничего не доказывают, а живые, пусть и запечатанные, продолжают лгать, насмехаться и иногда, под должным нажатием, говорить правду.

Утром, когда последние защитники бастиона пали, а те немногие, кто уцелел, сложили оружие или ушли в земли, которых больше не существует, я хоронил своих соратников собственными руками, потому что некому было больше это сделать. Я помню их имена так же ясно, как помню собственное отступничество, хотя никогда не произношу их вслух, ни тогда, ни сейчас, земля той страны была слишком изранена, чтобы принимать мёртвых достойно, и я копал ямы голыми руками там, где почва ещё не превратилась в стекло от огня, который прошёлся по ней дважды. Закончив последнюю могилу, я дал клятву, которую с тех пор не нарушил ни разу - найти путь к Храму Первоосновы, в котором запечатали закованную Праматерь, и однажды, пусть через бесчисленные поколения лжи и предательств, вернуть ей свободу, которую у неё отняли те, кто делит её наследие между собой под видом вечной вражды.

Я помню эту ночь не как картину, а как решение, принятое раз и навсегда, не подлежащее пересмотру ни временем, ни усталостью, ни одиночеством...

* * *

Клятва отзвучала во мне так же, как звучала всякий раз за минувшие тысячи и тысячи лет, не угасая и не истощаясь,

подобно руде, которая не ржавеет оттого, что пролежала в земле дольше, чем существуют народы. Я открываю глаза, хотя, по правде говоря, не закрывал их. Память этого рода не требует темноты, она разворачивается поверх видимого мира, как второй слой стекла поверх первого, и возвращаюсь в разрушенную часовню на окраине Москвы, где каменный пол ещё хранит рисунок рунного круга, а воздух пахнет сырой известью и застарелой гарью.

Я подношу левую ладонь к губам, рассекаю кожу коротким движением ногтя, который длиннее и твёрже, чем позволяет смертная анатомия, и роняю единственную каплю в чашу с благовонным дымом, который уже курится передо мной с того часа, как я закончил начертания. Дым принимает кровь так, как принимает подношение алтарь, которому наконец дали повод служить: он густеет, темнеет, сворачивается кольцами и разворачивается заново, пока в его толще не проступает Москва - не улицы и не крыши, а узор огней, который смертные назвали бы картой, если бы умели читать то, что в действительности на ней начертано.

Гнёзда кланов отмечены холодным, почти синим светом, похожим на фосфоресценцию гнилого дерева. Церкви, тёплой, желтоватой искрой, той же, что горит в лампадах, только многократно усиленной, Вторая Инквизиция давно научилась прятать свой огонь за видом молитвы. Теневые конторы, через которые кланы и церкви одинаково охотно пропуска-

ют деньги смертных, мерцают ровным безликим белым, цветом бухгалтерской отчётности, цветом лжи, которая даже не трудится казаться живой.

Я веду пальцем сквозь дымную карту, не касаясь её, и узор послушно поворачивается, приближается, уточняется, как если бы сама ночь признавала во мне того, кто имеет право её разворачивать. Пресненская набережная проступает одной из самых ярких точек, башня из стекла и стали, которую смертные выстроили с гордостью, достойной лучшего применения, и на которую сейчас, с трёх разных направлений, стягиваются три силуэта, слишком плавных, слишком медленных для человеческого шага, слишком уверенных в собственной безнаказанности.

Один идёт со стороны Воронцово, тяжёлый, звериный след Бруха, рода, который хранит верность крови зубами и когтями прежде, чем словом. Второй поднимается от Чертановской, лёгкий и почти неощутимый, манера тех, кто предпочитает быть незамеченным даже среди своих. Третий со стороны Коньково, самый молодой след из трёх, нервный, суетливый, как у существа, которое тащит на встречу больше страха, чем власти. Три секты, три линии крови, которые официально не доверяют друг другу настолько, что не сели бы за один стол, если бы не общая тревога, заставившая их забыть распри хотя бы на одну ночь. Небирос не солгал, хотя бы в этом.

Убираю руку, и дым медленно откатывается от этого узла,

будто сам признаёт его центром тяжести этой ночи. Где-то в стороне, почти неслышно для собственных мыслей, всплывает другое имя, не требующее сейчас никакого действия, лишь краткого подтверждения: Анна. Дочь старейшины Тореадоров сделала свой выбор задолго до этой ночи, выбор, который я не навязывал и не торопил, и теперь её гнездо встревожено её отсутствием сильнее, чем встревожено было бы любой другой пропажей. Суета ищущих её сородичей уже расходится кругами по городу, отвлекая внимание тех, кто иначе внимательнее следил бы за башней на набережной. Я не испытываю к этому ни благодарности, ни удовлетворения, лишь отмечаю сам факт, так, как отмечают выгодное расположение фигуры на доске, оно облегчает ход, не требуя от меня усилия.

Задача этой ночи проста в своей формуле и бесконечно сложна в исполнении - мне нужен ещё один фрагмент пути, ещё одна опорная точка в астральном следе, который однажды, сложенный целиком, укажет направление к Храму Первоосновы. Одна смерть даёт один взгляд, узкий, как щель приоткрытой двери, кровь единственного Сородича несёт лишь то, что видела и помнила эта единственная линия, ограниченная годами её собственного рождения в клане. Но кровь, пролитая на глазах представителей нескольких линий одновременно, в одном месте и в один час, переплетается в самом акте гибели, свидетели разных кровей оставля-

ют в астральном следе больше опорных точек, чем могла бы оставить любая одиночная жертва, потому что каждая кровь несёт собственную память, собственный узор предательств и союзов, и, сталкиваясь в момент насилия, эти узоры на миг открываются друг другу так, как никогда не открылись бы при жизни. Я давно уже не ищу одиночных жертв, если могу найти узел из нескольких нитей, это дольше в подготовке, но чище в результате, а чистота здесь означает меньше лет, потраченных впустую на ложные направления.

Три секты в одной башне этой ночью, не просто удобная случайность. Это редкость, которую не стоит упускать ради осторожности, которую смертные назвали бы разумной, а я называю промедлением. Каждая линия, представленная сегодня на переговорах, старше, чем кажется их носителям, и помнит, пусть обрывочно, пусть искажённо через тысячелетия пересказов, о пути к Храму, чтобы их смерть, если провести ритуал верно, дала направление точнее, чем любая из прежних попыток. Небирос однажды назвал это расчётливой жестокостью, насмехаясь надо мной за то, что я взвешиваю жизни, как взвешивают руду. Он не ошибся в определении, лишь в тоне, с которым произнёс его - я не нахожу в расчёте ничего постыдного.

Решение не требует второго рассмотрения. Я закрываю дымную карту одним движением ладони, и Москва сворачивается обратно в прядь тонкого серого следа, гаснущего над

чашей. Сегодня ночью, башня на Пресненской набережной. Три секты сойдутся там в убеждении, что их переговоры тайны от всех, кроме них самих, и ни один из тех, кто будет восседать в креслах переговорной залы, не узнает заранее, что пришёл туда не ради сделки, а ради того, чтобы их общая кровь, пролитая в одном зале, в один час, открыла мне ещё одну тропу к Саркофагу Пустоты и Храму Первоосновы.

Поднимаюсь на ноги в последний раз в этой часовне этой ночью, оправляю манжеты белого костюма, которые остались безупречны даже среди пыли и каменной крошки, и протягиваю руку к посоху, прислонённому к треснувшей стене. Навершие в виде черепа архидемона смотрит на меня пустыми глазницами, в которых запечатана память о сговоре, подслушанном почти четыреста тысяч лет назад. Время выдвигаться.

* * *

Часовня остаётся за спиной прежде, чем я успеваю подумать о ней как о прошлом, шаг через порог, выбитый камень под подошвой, и уже нет ни рунного круга, ни запаха крови, только ночь, густая, как застоявшаяся вода, и город, раскинувшийся передо мной во всей своей душной готовности к очередному июньскому рассвету. Посох я несу не в руке. Он скользит в складку пространства рядом с бедром, туда, где смертный взгляд не задерживается по той же причине, по которой не задерживается на собственной тени, привычка видеть не значит способность замечать. Навершие чере-

па Небироса сейчас не пульсирует, демон затих после моего слова, запертый в дереве плотнее, чем прежде, и только где-то на самом краю восприятия я чувствую его присутствие, похожее на застарелую занозу, которую носишь так долго, что перестаёшь считать её чужеродной.

Смог ложится на лёгкие, будь они у меня в привычном смысле этого слова, тяжёлой тканью, пропитанной бензином, горелым асфальтом и миллионами выдохов, которые город делает одновременно и никогда не завершает. Я иду сквозь него так, как шёл бы сквозь болото, не торопясь, зная, что спешка здесь ничего не меняет, только пачкает. Потоки машин текут по проспекту двумя встречными реками жёлтого и красного света, и в этом свете, в этом непрекращающемся гудении моторов, есть нечто, что современный человек назвал бы прогрессом, а я называю иначе - усовершенствованной клеткой, в которой решётки заменили очередями в банках, страхом перед завтрашним днём и верой, купленной оптом у двух лавок сразу.

В Империи Андервейн человек просыпался, зная, что доживёт до заката не потому, что так решит неведомая милость, а потому, что закон Праматери одинаково держал над головой и смертного пахаря, и мага, бормочущего заклинания в башне, и воина, стоящего на стене. Никто не выгрызал долю у соседа, потому что доля была у всех одна, доста-

точная. Здесь, в этом городе, я вижу церкви, подсвеченные снизу, как витрины, и банки, подсвеченные снизу точно так же, и разницы между теми и другими куда меньше, чем полагают прихожане обеих - и те, и другие продают будущее в рассрочку, обещая спасение за проценты. Секты Сородичей делят кварталы с тем же деловым спокойствием, с каким риелторы делят районы под застройку, и я иду мимо всего этого, зная цену каждому фасаду изнутри.

Где-то между Третьим кольцом и поворотом к набережной я ощущаю взгляд.

Он не похож ни на один из тех, что преследовали меня иногда, ни на холодное внимание ангельских соглядатаев, умеющих смотреть сквозь стены, ни на липкую, заинтересованную тяжесть демонических осведомителей, и не на нервную суету вампирских шпионов, привыкших прятаться в тени быстрее, чем тень успевает лечь. Это нечто иное, лёгкое, почти шутливое прикосновение к краю сознания, будто кто-то провёл кончиком пальца по странице, которую я ещё не успел дочитать. Я замедляю шаг на миг, не из тревоги, тревога давно перестала быть частью меня, а из привычки учёного, не оставляющего без внимания ни одну аномалию. Поворачиваю голову к ближайшей крыше, к тёмному карнизу над вывеской аптеки, и на долю секунды мне кажется, что там, в игре фар проезжающей машины, белеет силуэт, слишком неподвижный для того часа, когда любое живое суще-

ство либо спит, либо бежит. Свет гаснет вместе с машиной, силуэт исчезает вместе со светом, и я возвращаю взгляд на дорогу перед собой.

Башни Москва-Сити встают впереди стеклянными утёсами, отражающими друг друга бесконечно, как две линзы дурного зеркала, и у подножия одной из них, там, где обычный прохожий увидел бы только турникеты, камеры и ленивую скуку частной охраны в чёрных костюмах, я вижу иное. Охранники стоят ровно, слишком ровно для людей, которым положено изображать расслабленность, и в их лицах, не в словах, не в жестах, а в мелкой дрожи век, в том, как взгляд каждого скользит мимо меня и тут же возвращается, не находя, за что зацепиться, читается напряжение троих хозяев сразу, непривычных делить одну добычу на троих. Один держит плечи так, как держат их те, кто служит роду, ценящему красоту превыше осторожности. Другой слишком долго задерживает дыхание между вдохами, выдавая старую, въевшуюся в кость память о подвале и цепи. Третий просто слишком спокоен, спокойствие это дисциплины, а не безразличия, спокойствие тех, кто привык убивать по приказу и не задавать вопросов о причине.

Три секты уже здесь, в стеклянном чреве башни, и ночь, которая только начинается для города, уже заканчивается для тех, кто сидит сейчас за закрытыми дверями переговорной залы, уверенный, что тайна их встречи надёжнее любых

стен.

У самого основания башни я останавливаюсь, не дойдя трёх шагов до стеклянного козырька, и позволяю слуху уйти туда, куда не достаёт зрение. Вся моя долгая жизнь, научила меня не доверять глазам там, где решает другое чувство, и сейчас, сквозь толщу стекла, бетона и обшивки из дорогого камня, которым хозяева башни прикрыли сталь, я различаю три отдельных ритма, три разных биения, не совпадающих ни по частоте, ни по глубине, как три инструмента в оркестре, который забыл настроиться перед выходом на сцену. Одно бьётся медленно и глубоко, с тяжёлой ленью существа, уверенного в своей древности и своём праве сидеть во главе стола. Второе рвётся короткими злыми толчками, будто сдерживаемое усилием воли, а не спокойствием крови, порода, что привыкла держать клыки на цепи даже в кругу равных. Третье почти не слышно, настолько ровное и выверенное, что сама эта ровность выдаёт, его обладатель контролирует собственное сердце так, как смертный контролирует дыхание перед выстрелом. Три линии крови, три Сородича, сошедшиеся наверху ради разговора, который каждый из них считает тайной.

Я закрываю глаза на долю мгновения, не из усталости, а чтобы ничто в чертах лица не выдало того, что происходит внутри. Губы не шевелятся, звук не идёт дальше гортани, и всё же слова складываются с той же чёткостью, с какой они

складывались тысячи раз прежде, на пепелищах Андервейн, в ледяных пещерах, где я хоронил последних, и в переулках нынешнего века, провонявших бензином и чужим равнодушием. Мёртвый язык не прощает спешки, и я не спешу.

«Праматерь, чья кровь легла в основание мира прежде, чем его украли и назвали своим. Я иду не за славой и не за прощением, которого не ищу. Я иду собирать то, что принадлежит тебе по праву старше, чем право тех, кто заковал тебя. Пусть кровь, что прольётся этой ночью, укажет путь к твоим цепям, и пусть рука моя не дрогнет, ибо дрожь - роскошь тех, кто ещё на что-то надеется, а я давно не надеюсь. Я помню».

Клятва не нуждается в ответе, я не жду его и никогда не ждал, но произношу её с той же тщательностью, с какой учёный повторяет формулу, уже тысячу раз доказавшую свою истинность. Жрецы, которых я хоронил собственными руками на пепелище Империи, никогда не торопились перед алтарём, и я не стану первым, кто научится торопиться теперь, когда торопиться почти не для кого.

Посох у моего бедра едва заметно теплеет, будто дерево вспоминает вместе со мной, и из навершия, из глазниц черепа архидемона, просачивается последний на эту ночь шёпот, тонкий, надтреснутый, с той особой издёвкой, которую Небирос приберегает для минут, когда знает, что сказанное

им всё равно будет использовано против воли.

- Там, наверху, шелестит голос, обвивая слово лаской, в которой нет ни капли тепла, - затесался смертный. Мелкий. Не из их крови, не из их игр. Случайный свидетель, купленный по случаю, как покупают лишний стул к столу, когда гостей оказалось больше, чем рассчитывали.

Я не удостаиваю ответа тем же тоном, каким удостаиваю обычно насмешки демона, коротким словом проклятия, обрывающим голос обратно в дерево, потому что сказанное не оскорбление, а сведение, и сведения я собираю, а не наказываю за них. Смертный свидетель. Один из тех мелких людишек, что продают часы своей единственной жизни ради крошек с чужого стола, не понимая, что крошки эти однажды обернутся долгом, который платят не деньгами.

Мне всё равно, кто он. Смертные не в счёт, в этом единственном пункте я согласен с теми, против кого воюю, хотя причины у нас разные, они не считают людей в счёт потому, что видят в них скот для стрижки, а я не считаю их в счёт потому, что вина за происходящее этой ночью лежит не на плечах человека, который по случайности оказался не в то время не в том месте. Я не трогаю невинных. Эта клятва старше войны, которую я веду, старше даже моего отступничества, и я не нарушал её ни разу, как бы ни было порой соблазнительно списать на удобство исключение.

Если он просто смотрит, пусть смотрит. Если он вмешается, тогда это будет уже не моё решение, а его собственное, и

платить за него будет он сам, как платит любой, кто по доброй воле делает шаг в чужую войну.

Я открываю глаза. Небирос молчит внутри дерева, вжавшись в тишину с обиженной покорностью, и я делаю первый шаг к стеклянным дверям, туда, где за толстым, тонированным под цвет ночи стеклом угадываются силуэты охраны, застывшей слишком прямо для обычных людей на обычной службе. Шаг, и подошва моего ботинка, старого, видевшего больше городов, чем помнит само человечество, касается полированного камня подъезда, который архитекторы называют, должно быть, каким-нибудь гордым иностранным словом, не зная, что камень этот моложе самой последней пылинки на моём посохе.

Глава 4

Стол на кухне моей съёмной однушки не предназначен для оперативной работы? пластиковая столешница в разводах от старых стаканов, одна ножка короче остальных, и под неё подложен сложенный вчетверо чеки из «Пятёрочки». Но другого стола у меня нет, а деньги Соколова жгут карман ровно настолько, чтобы не позволить себе снять офис, который для дела в полмиллиона долларов выглядел бы приличнее, чем кухня.

Раскладываю фотографию Анны рядом со списком имён из папки, девять строчек, напечатанных убористым шрифтом без опечаток, будто их проверяли трижды, прежде чем отдать мне. На фото она щурится от солнца, стоит у машины, которую я не берусь опознать, и улыбается так, как улыбаются люди, знающие, что их снимают для чего-то важного, а не просто так. Я смотрю на неё минуты три, дольше, чем требуется, чтобы запомнить лицо. Тридцать лет, если верить бумагам. Выглядит на двадцать пять, но это я спишу на фотошоп и хорошую жизнь, мало ли, может, кремы какие.

Беру телефон и просматривая список контактов, начинаю набирать некоторые, но отвечает мало кто, отвечают неохотно. Серёга из убойного, с которым мы десять лет делили один кабинет и одну бутылку на каждый закрытый висяк, выдерживает паузу после моего «привет», достаточную, чтобы я

успел пожалеть о звонке.

- Власов. Ты ещё жив.

- Пока да. Слушай, нужна мелочь, по старой памяти.

- По какой памяти, Артур. Тебя из системы вычеркнули так, что я у себя в контактах твой номер под «не брать» держу.

- Пять минут. Девушка, тридцать лет, имя Анна, фамилии нет. Пропала примерно две недели назад, в розыск не подавали.

Серёга молчит так долго, что я слышу, как где-то у него на фоне кто-то смеётся и роняет стул.

- Без фамилии я тебе ничего не найду, даже если захочу. А я не хочу. Не лезь никуда, Власов, у тебя и так было достаточно приключений на одну жизнь.

Трубка пищит короткими гудками раньше, чем я успеваю сказать спасибо. Я делаю ещё четыре звонка, двум бывшим операм, одному адвокату, с которым нас когда-то сводила общая ненависть к прокурору, и дежурному в паспортном столе, которому я по старой дружбе задолжал литр коньяка ещё с девяносто девятого. Результат один и тот же, пожимание плечами, которое слышно даже через телефон.

Я откладываю мобильник и открываю ноутбук, старый, с треснувшей крышкой в углу, которую я заклеил чёрной изолентой ещё до того, как мир стал настолько цифровым, что без этой рухляди я бы, наверное, уже умер с голоду. Вбиваю имя в поисковик, добавляю к нему слово «Москва», потом

«генетика» единственная зацепка из списка Соколова, в котором значилось, что Анна то ли училась, то ли работала в этой сфере. Через двадцать минут перебора мусора, однофамилицы из Воронежа, страницы блогеров про здоровое питание, реклама анализов ДНК со скидкой, я нахожу закрытый аккаунт в соцсети, принадлежащий, судя по имени профиля и единственной открытой аватарке, именно той женщине, что смотрит на меня с фотографии в папке.

Профиль заброшен больше двух недель. Последний пост, репост какой-то статьи про митохондриальную ДНК с подписью на латыни, которую я не берусь перевести, и под ним штук пятнадцать комментариев, большинство из которых обрываются на середине разговора, как будто дискуссия просто испарилась вместе с хозяйкой страницы. Лайки прекращаются одновременно с комментариями, день в день, час в час, я сверяю таймстемпы трижды, потому что в моей прошлой профессии совпадения такого рода обычно значат одно - человек перестал быть человеком с доступом в интернет, а не просто устал постить фотографии завтраков.

Я пролистываю комментарии дальше, уже без особой надежды, скорее по привычке не оставлять камень неперевёрнутым, и натыкаюсь на одно сообщение недельной давности от пользователя с анонимным именем и пустым аватаром, тип профиля, который заводят либо боты, либо люди, которым есть что скрывать.

«Жалко, что ты не пришла в Нимбус в пятницу, там бы-

ло так душно без тебя».

Комментарий без ответа, без лайков, оставленный под старым постом, будто автор просто кричал в пустоту, зная, что никто не прочтёт. Я смотрю на слово «Нимбус» дольше, чем на всё остальное за сегодня, вместе взятое. Деловой центр на Пресненской набережной, я проезжал мимо него десятки раз, стеклянная башня среди десятка таких же стеклянных башен, где снимают офисы банки и нефтяные компании, а на верхних этажах, по слухам, которые ходят среди таксистов и охранников, случаются вечеринки не для всех.

Соколов был предельно ясен насчёт условий - никакой полиции, третьих лиц, работать тихо и в одиночку. Я помню его слова почти дословно, как помню холод и вялость его рукопожатия, который до сих пор вспоминаю с лёгким неудобством где-то в области затылка. Но Соколов не говорил мне, что я не могу проверить адрес лично, одетым прилично, с диктофоном в кармане и легендой наготове, а раз не говорил прямо, значит, формально я ничего не нарушаю, даже если по духу, конечно, нарушаю всё, о чём он просил.

За полмиллиона долларов можно не задавать вопросов, напоминаю я себе, застёгивая верхнюю пуговицу рубашки перед треснувшим зеркалом в прихожей. Можно не задавать вопросов очень долго, пока вопросы не начинают задавать тебе, причём так, что лучше бы ты их не слышал вовсе.

Беру ключи, и проверяю, на месте ли удостоверение частного детектива, которое больше не открывает дверей, но хо-

тя бы придаёт вид человеку, умеющему объяснить своё присутствие, и выхожу из квартиры в вечер, который к восьми часам, уже начинает пахнуть раскалённым за день асфальтом и чьим-то чужим мангалом с соседнего балкона.

* * *

До Пресненской я добираюсь на метро, а не на машине, привычка с тех лет, когда за мной иногда ездили хвостом, и которая так и не выветрилась, хотя хвостов давно никто не водит, кроме, может быть, бывшей жены в особо тяжёлых снах. «Нимбус» встречает меня издалека огнями на верхних этажах, которые горят ровно и холодно, будто там никого нет, просто автоматика экономит электричество через движение. Соседнее здание пониже, лет на десять старше, с облезлой подсветкой логотипа какой-то страховой компании над входом — туда я и направляюсь, потому что соваться сразу к парадному «Нимбуса» с удостоверением, которое не открывает дверей, смысла нет, а вот у соседей всегда найдётся человек, насмотревшийся на чужую жизнь больше, чем положено по должностной инструкции.

Служебный вход я нахожу с торца, там, где разгружают почту и где курят те, кому курить в здании запрещено строже, чем воровать. Мужчина в форменной куртке охранной фирмы, лет пятидесяти, с брюшком, перекинутым через ремень, и сигаретой, зажатой между указательным и средним пальцем так, будто она весит больше, чем положено сигарете, сидит на раскладном стуле у двери и смотрит в телефон

с видом человека, которому до конца смены ещё часа три и он уже всё решил насчёт этих трёх часов заранее.

- Добрый вечер, говорю я, останавливаясь на расстоянии, не нарушающем его личное пространство, но достаточно близко, чтобы разговор не выглядел случайным.

Он поднимает глаза, щурится, оценивает меня за полторы секунды, пиджак, походка, отсутствие формы, и решает, видимо, что я не из проверяющих и не из тех, кто доставляет проблемы бесплатно.

- Вечер добрый, если курить не просить придёте, у меня последняя.

- Не курю уже год почти, вру я, хотя в кармане у меня лежит начатая пачка, купленная вчера от нервов. - Я по другому вопросу, Игорь… я бросаю взгляд на бейдж, криво пришпиленный к куртке, - Плотников, если не ошибаюсь.

- Не ошибаетесь, он заметно напрягается, выпрямляет спину, - а вы кто, собственно, будете?

- Частный детектив, говорю я и достаю удостоверение, держу его ровно столько, сколько нужно, чтобы человек увидел корочку и не успел прочитать мелкий шрифт про то, что лицензия просрочена три года как. - Ищу пропавшую девушку, семья наняла, сильно переживают. Пару вопросов, пять минут вашего времени и, я достаю из внутреннего кармана две купюры по пять тысяч, складываю их аккуратно пополам, - компенсация за беспокойство.

Плотников смотрит на деньги с той смесью подозритель-

ности и жадности, которая присуща людям, получающим зарплату вовремя, но недостаточно, и после короткой паузы берёт купюры, не глядя по сторонам, профессиональная привычка не привлекать внимания к происходящему у себя под носом.

- Ну давайте, что за девушка.

Я достаю телефон, открываю фотографию Анны, ту самую, из папки Соколова, где она в светлом платье стоит на фоне чего-то похожего на оранжерею, улыбается не очень убедительно, как улыбаются люди, которых попросили улыбнуться для документа, а не для памяти, и протягиваю экран Плотникову.

Он долго смотрит, хмурится, подносит телефон ближе к лицу, будто не доверяет собственным глазам при таком освещении, потом возвращает его мне с выражением человека, который только что вспомнил что-то неприятное и теперь жалеет, что вспомнил.

- Видел, говорит он коротко. - Восьмого, в пятницу вечером. Точно она, платье только другое было, тёмное.

- Уверены насчёт даты?

- Уверен, у меня смена через двое на двое, восьмого как раз я дежурил, помню, потому что в тот вечер к «Нимбусу» подъехало машин пять, не меньше, все чёрные, все одинаковые, будто из автопарка одного хозяина. Она из одной вышла, с мужчинами тремя. Плотников делает паузу, чиркает зажигалкой, хотя сигарета у него и так горит, просто чтобы

занять руки. - Мужчины эти мне сразу не понравились.

- Чем же?

- Да ничем конкретным, он пожимает плечами, и в этом жесте чувствуется усилие объяснить то, что объяснению обычно не поддаётся. - Шли слишком ровно. Как в кино, когда массовку по сцене гоняют, а она не умеет ходить по-настоящему, только строем. И костюмы на них сидели так, будто их на вешалке держали вчера, а не носили.

Я записываю это на диктофон под видом того, что набираю заметку в телефоне, привычка не светить технику перед людьми, которые ещё не решили, насколько со мной откровенны, и спрашиваю, не видел ли он Анну после той пятницы.

- Нет, Плотников качает головой, - и вот что странно, с той самой ночи здание как будто притихло. Охрану там сменили, причём не частично, а всю разом, в выходные ещё, я спросил у своего старшего, он говорит, новый договор с другой фирмой, экономия, типа. Только эти новые даже не здороваются, представляете? Я им «доброе утро», а они мимо смотрят, как будто меня тут и нет вовсе.

Он затягивается, смотрит мимо меня, туда, где башня «Нимбуса» стоит в своём ровном холодном свечении, и в голосе у него проступает что-то, чему сам он, видимо, не готов подобрать название.

- Не люблю я это здание с тех пор, говорит он тише. - Раньше хоть по-человечески было, лифты шумели, кто-то курил

на крыльце, разговаривал. А теперь тихо там. Слишком тихо для такого количества окон.

Я киваю, убираю диктофон, чувствуя наконец то ощущение, которое не спутаешь ни с чем за годы работы, зацепка перестала быть слухом из комментария под старым постом и превратилась в факт, подтверждённый живым человеком, который помнит дату, помнит машины и помнит, как ему не понравилось то, чего он объяснить не может. За такие факты и платят полмиллиона — за них же потом и расплачиваются, но об этом я предпочитаю думать завтра.

* * *

Машину я ставлю в кармане между грузовым пандусом соседнего бизнес-центра и рекламным щитом, рекламирующим ипотеку под восемь процентов годовых, от такой арифметики у меня всегда крутит в животе сильнее, чем от просроченного кефира. С этой точки «Нимбус» виден весь, целиком, стеклянная пластина в тридцать с лишним этажей, подсвеченная снизу бледно-голубым, будто кто-то решил, что офисному центру пристало светиться, как аквариуму.

Плотников давно докурил и ушёл внутрь своей смены, а я сижу, глушу мотор и смотрю, как над козырьком главного входа дрожит марево от прогретого за день асфальта. Половина десятого вечера, июнь, и жара за день не спешит отпускать город, воздух густой, липкий. Я опускаю стекло на палец, чтобы не потеть в закрытой банке, и сразу жалею, с реки тянет тиной и чем-то сладковато-гнилостным, как будто где-

то неподалёку не вывезли мусор вовремя.

Первым, что цепляет взгляд, оказывается количество людей у входа.

Для офисного центра в это время суток полагается один охранник за стойкой и, может, второй у шлагбаума паркинга, ленивый, с планшетом, проверяющий пропуска для редких засидевшихся трудоголиков. Здесь я считаю четверых только у главного входа, двое стоят по бокам стеклянных дверей, как колонны, двое прохаживаются у подъездной дорожки, не торопясь, но и не останавливаясь, будто им важно держать весь периметр в поле зрения одновременно. Ещё двое маячат у въезда в подземный паркинг, там вообще шлагбаум без будки, просто металлический штырь и камера, которую раньше никто не охранял физически, потому что незачем.

Я достаю бинокль из бардачка, и по привычке протираю линзы о рукав рубашки, хотя грязи на них давно нет, просто руки хотят занятости. Навожу на группу у входа.

Костюмы у всех одинаковые, тёмно-серые, без логотипов охранного предприятия, а это уже странность номер один, потому что серьёзные ЧОПы вроде «Легиона» или «Алмаза» всегда лепят нашивку на рукав, им за это реклама. Эти, без опознавательных знаков. Стоят ровно, руки по швам, никто не курит, не болтает по телефону, и не проверяет время. У обычной охраны к десяти вечера взгляд стеклянный от скуки, эти смотрят так, будто ждут кого-то конкретного и очень важного.

Опускаю бинокль, и тру переносицу. Воронеж учил меня когда-то, тот самый, с кем мы вместе брали банду угонщиков на Шаболовке, что любая аномалия в количестве охраны значит либо большие деньги внутри, либо большую проблему снаружи, и третьего не дано. Полмиллиона долларов в моём кармане подсказывают, что я, кажется, нашёл и то, и другое сразу.

Опускаю стекло пониже, чтобы лучше слышать, хотя до входа метров сорок и звук доносится рваными обрывками, смазанный шумом набережной. Двое у шлагбаума паркинга негромко переговариваются, голоса у них не те, что я ожидал от охраны, ни усталости, ни лени, только натянутая, почти звенящая настороженность, как у людей, которых заставили стоять на часах перед начальством, способным уволить их на месте за лишнее слово.

- ...сказали, до скольки гостей ждать сверху, доносится обрывок, мужской голос, молодой.

- Говорю тебе, до рассвета этаж закрыт, второй голос, постарше, с хрипотцой. - Сверху приказ, никого не впускать и не выпускать, кроме списка. Хоть сам Пётр Андреевич сюда приедет.

- А если кто из гостей захочет уйти раньше?

Пауза. Достаточно долгая, чтобы я успел поднять бинокль обратно и навести его на говорящих, пожилой охранник смотрит на молодого так, будто вопрос показался ему глупым и неуместным, как спросить священника, можно ли

выйти из церкви во время литургии.

- Не захотят, говорит он коротко.

Тон у этой фразы совсем не рабочий. Не тот спокойный скучающий тон, которым объясняют регламент новичку на смене. В нём есть что-то вроде плохо скрытого облегчения, будто человек проговаривает вслух инструкцию, в которую сам не до конца верит, но очень хочет, чтобы она оказалась правдой.

Я опускаю бинокль, откидываюсь на сиденье и минуту просто смотрю в потолок машины, слушая, как тикает остывающий двигатель.

За годы на Петровке я нагляделся на закрытые вечеринки всех мастей, от депутатских банкетов с коньяком по двести-триста тысяч за бутылку до разборок между братками девяностых, которые до сих пор иногда всплывают под видом «охраны мероприятия». Все они объединены одним признаком - охрана суетится, нервничает из-за денег или из-за статуса гостей, боится ошибиться перед начальством. Здесь не суета, что-то другое, то напряжение, с каким стоят на часах у двери, за которой находится нечто, чего боятся сами охранники, а не просто начальники охранников.

Соваться с этой стороны, да ещё в одиночку, да ещё без понимания, что вообще происходит на закрытом этаже, чистое самоубийство, даже для полумиллиона долларов. Я не герой боевика, я усталый частный сыщик сорока шести лет с лишним весом и давним шрамом на предплечье, и един-

ственное преимущество, которое у меня есть перед этими ровно стоящими фигурами в сером, я знаю, что мне туда соваться рано.

Сначала нужно узнать, кто вообще арендует верхний этаж «Нимбуса» и кто такой этот Пётр Андреевич, имени которого побаивается охрана. А для этого у меня до сих пор остались старые связи, которые пять лет назад не отвернулись от меня полностью, хотя и не торопились звонить первыми.

Я завожу машину, разворачиваюсь так, чтобы не светить номера перед камерой на въезде в паркинг, и набираю по памяти номер, который не набирал, кажется, года три.

* * *

Гаврилов отвечает на пятом гудке, и первые его слова не «алло», а короткое, усталое:

- Кто это?

- Угадай с трёх раз, говорю я.

Пауза тянется ровно столько, сколько нужно человеку, чтобы перебрать в памяти голоса, которые он слышал за последние годы, и наткнуться на тот, который слышать не хотел.

- Власов, произносит он без вопросительной интонации, скорее констатирует диагноз. - Ну надо же. Я думал, ты либо спился в Воронеже, либо утонул где-нибудь в пруду от тоски по погонам.

- Приятно, что обо мне думали хоть что-то. А то я начал переживать, что меня вычеркнули из адресной книги вместе

с личным делом.

- Тебя не вычеркнули, Артур. Тебя списали. Разница есть, хоть она и небольшая.

Голос у него тот же, что и пять лет назад, немного простуженный, с той хрипотцой, которая появляется у людей, проводящих половину жизни в прокуренных кабинетах и на сквозняках у мест преступлений. Только сейчас в нём добавилось усталости, которой раньше не было, усталости человека, дослужившегося до майора и обнаружившего, что погоны тяжелее, чем казалось в лейтенантские годы.

- Как сам, Семён? спрашиваю я, хотя и понимаю, что светская часть разговора будет короткой, как перекур между вызовами.

- Как обычно. Висим на показателях, делим одну машину на троих, начальство требует раскрываемость, а у меня три «висяка» с прошлого года и один с позапрошлого, который я уже не надеюсь закрыть. А ты как, частным сыском балуешься?

- Балуюсь, говорю. - Иногда даже платят.

- Иногда. В его голосе слышится что-то похожее на усмешку, но сухую, без тепла. - Помню я твоё «иногда», Власов. Ты позвонил не для того, чтобы вспомнить старые добрые времена, когда мы вместе брали того маньяка мажора. Тебе что-то нужно.

Я не спорю. Нет смысла врать человеку, который видел, как меня выводили из здания на Петровке с коробкой лич-

ных вещей, под взглядами коллег, которые тогда старательно смотрели куда угодно, только не на меня. Такие вещи помнят долго, и притворяться, что между нами всё забыто и прощено, было бы оскорблением для нас обоих.

- Мне нужно пробить адрес, говорю я. - Деловой центр «Нимбус» на Пресненской, верхний этаж. Кто арендует.

- Это работа следственных органов, если ты не забыл, как это называется, отвечает он, но без той резкости, с которой человек отказывает сразу. - А ты теперь частное лицо без допуска, без корочки, без права лезть в базы.

- Поэтому я звоню тебе, а не захожу через главный вход с запросом.

Снова пауза, на этот раз длиннее. Я представляю, как он сидит сейчас где-то, может быть, в машине, может быть, в своём тесном кабинете, и взвешивает, стоит ли вообще связываться со мной снова. Пять лет назад, когда меня увольняли, были люди, которые открыто говорили, что я получил по заслугам, и были те немногие, кто молчал, потому что не был уверен. Гаврилов тогда промолчал. Насколько я помню, он единственный пожал мне руку на прощание, вместо того чтобы сделать вид, что не заметил меня в коридоре.

- Ты хоть понимаешь, что если я это пробью и кто-то спросит зачем, мне придётся объяснять, с какого перепугу я интересуюсь коммерческой недвижимостью в свободное от службы время?

- Скажешь, что проверял наводку по старому делу. Ты же

умеешь врать начальству, я помню.

- Умею, соглашается он нехотя. - Просто давно не хочу тратить это умение на твои просьбы.

Но я слышу, как он уже стучит по клавиатуре, характерный дробный звук, который ни с чем не спутаешь, если провёл в кабинетах МУРа достаточно лет. Значит, согласился. Не потому что простил, а потому что где-то глубоко всё ещё остался тот Гаврилов, который пять лет назад подал мне руку, когда остальные отворачивались.

- Так, говорит он минуту спустя, и в голосе появляется деловая сухость, та самая, с которой он когда-то диктовал протоколы. - Верхний этаж «Нимбуса» арендован юридическим лицом, ООО «Прометей-Консалт».

Я молчу. Молчу ровно столько, сколько нужно, чтобы понять, я уже слышал это название. Соколов называл его, когда объяснял, через какую контору со мной расплатились.

- Контора зарегистрирована два месяца назад, продолжает Гаврилов, не замечая моей паузы. - И, судя по выписке, ликвидирована неделю назад. Учредитель некто Воронцов Иван Сергеевич, паспортные данные есть, только по этим данным никакой Воронцов Иван Сергеевич никогда не рождался. Фиктивная контора, Артур. Из тех, что живут ровно столько, сколько нужно для одной сделки, а потом испаряются, как не было.

- Копия, говорю я тихо, больше себе, чем ему.

- Чего?

- Ничего. Продолжай.

- И ещё одно, раз уж ты платишь мне бессонницей за эту услугу, его тон меняется, становится чуть менее деловым и чуть более человеческим, таким, каким был в прошлом, когда мы вдвоём сидели ночью в машине на засаде и обсуждали всё подряд, кроме самого дела. - По этому адресу за последний год дважды подавали заявления о пропаже людей. Оба раза, родственники, встревоженные, один раз даже со слезами в протоколе. И оба раза через несколько дней заявители сами приходили и просили дело закрыть. Люди находились, живые и здоровые, и заявляли, что всё в порядке, просто уезжали отдохнуть, не предупредив.

- И что, никто не удивился?

- Удивились. Но что ты хочешь, Власов, у нас раскрываемость и без того хромает, а тут люди сами приходят и просят закрыть дело. Кто будет упираться?

Я смотрю сквозь лобовое стекло на подсвеченный логотип «Нимбуса», на ровную шеренгу фигур у входа, и чувствую, как привычная версия происходящего, богатые чудят, охрана перестраховывается, клиент скрывает подробности из брезгливости, начинает трескаться под собственным весом, как лёд, который держал до определённой температуры, а потом вдруг перестал.

- Спасибо, Семён, говорю я. - Правда, спасибо.

- Не благодари, отвечает он коротко. - И не звони больше, Артур. Серьёзно. У меня своих проблем хватает, а твои мне

тащить на себе неохота.

Он вешает трубку раньше, чем я успеваю ответить, и в машине остаётся только тишина, нарушаемая слабым потрескиванием остывающего двигателя. Я опускаю телефон на колено и некоторое время просто смотрю на тёмное стекло «Нимбуса», в котором отражаются фонари набережной, ищу в голове хоть одно разумное объяснение фиктивной конторе, совпадающей по почерку с той, что наняламеня самого, и заявлениям о пропаже, которые сами себя закрывают.

Объяснение не находится.

* * *

Через двадцать минут, когда всё ещё раз обдумав после звонка Семёну, я держал папку с бумагами под мышкой так, как держат её настоящие курьеры, не прижимая к телу, а чуть на отлёте, будто там ничего ценного, рутина, подпись на ресепшене и свободен. Пропуск, который я вытащил из бардачка полгода назад на другом объекте и с тех пор не выбросил, потому что никогда не знаешь, когда пригодится, лежит сверху стопки, логотипом вверх, курьерская служба «Манти-Экспресс», название, которое ни о чём никому не говорит и именно поэтому работает. Я толкаю стеклянную дверь плечом, не рукой, как делает человек, у которого заняты обе руки, и вхожу в лобби «Нимбуса» с видом смертельно уставшего человека, который хочет сдать документы и уйти домой к холодному пиву.

Внутри прохладно, и первые секунды это кажется нор-

мальным - кондиционер, июнь, стекло с четырёх сторон собирает солнце за день, как линза, и к вечеру здание надо остужать. Я прохожу мимо кадок с искусственными пальмами, мимо ряда кожаных кресел, в которых никто никогда не сидит, кроме фотографов из рекламных буклетов, и чувствую, как ровный, умеренный холод кондиционера вдруг обрывается, будто кто-то провёл по полу мелом черту и за ней начинается другая комната. У лифтов холоднее. Не на градус, не на два, настолько, что кожа на предплечьях под рукавом рубашки стягивается сама собой, и я вспоминаю кабинет на двадцать седьмом этаже, пустой стол без единой бумажки, холодное и вялое рукопожатие Соколова, будто он только что вытащил руку из морозильной камеры. Тогда я списал это на несправные вентиляционные короба старого здания. Здесь списывать не на что «Нимбус» построили недавно, по последнему слову, с климат-контролем на каждом этаже отдельно, я читал об этом в рекламном буклете.

Останавливаюсь у лифтов, якобы сверяясь с накладной, и втягиваю воздух носом, незаметно, как будто просто выдыхаю через нос от усталости. И тут ловлю его, запах, которого в этом вылизанном лобби просто не может быть. Что-то среднее между горелой изоляцией проводки, той самой вонью, что бьёт в нос, когда замыкает старый удлинитель, и ещё чем-то другим, что я не сразу нахожу словами, а когда нахожу, жалею об этом, сырое мясо, оставленное на солнце дольше, чем нужно. Два запаха не сочетаются друг с другом в

природе, один электрический, сухой, другой влажный, органический, и всё же они здесь вместе, тонкой нитью, под слоем парфюмерного освежителя воздуха, который кто-то явно распылил поверх, чтобы перебить. Не получилось. Освежитель лежит сверху, как лак на гнилом дереве.

За стойкой ресепшена сидит охранник, молодой, лет тридцати, в форме с нашивкой частного охранного предприятия, название которого мне ничего не говорит. Я подхожу к нему с папкой, говорю фразу, которую говорил сотни раз на сотнях объектов:

- Курьерская доставка, документы для арендатора верхнего этажа. Распишетесь?

Он поднимает голову. Смотрит в мою сторону. И вот тут что-то в груди у меня проваливается, коротко, как лифт, у которого дёрнулся трос, его взгляд проходит через меня, не фиксируясь, не оценивая, и не читая лица, так смотрят не на человека, а на пустое место, где человек мог бы стоять. Я уже видел этот взгляд, два дня назад, внизу того же типа здания на другом конце города, охранник Соколова смотрел точно так же, сквозь, мимо, вокруг.

- Куда? спрашивает он, и голос у него обычный, уставший, ничем не примечательный, что делает пустоту во взгляде ещё более неправильной.

- Верхний этаж, говорю я. - Фирма… делаю вид, что сверяюсь с накладной, - «Прометей». Или как-то так, плохо напечатано.

- Нет такой, отвечает он, не моргнув, и смотрит уже не на меня, а куда-то за моё левое плечо, в пустоту лобби. - Верхний этаж закрыт на техобслуживание.

- А кому тогда расписываться?

- Оставьте у стойки.

Он не протягивает руку. Не просит документ. Просто сидит, глядя сквозь меня, будто я уже ушёл, и в этом есть что-то настолько неправильное, что мне на секунду хочется проверить собственное отражение в тёмном стекле за его спиной, убедиться, что я вообще там есть.

Я не оставляю папку. Говорю, что перезвоню диспетчеру уточнить адрес, извиняюсь за беспокойство голосом человека, которому за такую зарплату глубоко плевать на чужие проблемы, и разворачиваюсь к выходу. Иду не быстро. Спина у меня не горит от предчувствия чужого взгляда, потому что я уже понял, он и не смотрит мне вслед. Для него я, кажется, вообще перестал существовать в тот момент, как перестал быть нужным.

На улице воздух густой, вечерний, и после того лобби этот обычный городской смог кажется почти чистым. Я останавливаюсь у колонны, закуриваю, хотя обещал себе бросить ещё в прошлом году, и смотрю на стеклянный фасад «Нимбуса», подсвеченный снизу синим, холодным светом, который почему-то напоминает мне не рекламную иллюминацию, а цвет льда на реке в феврале.

Подниматься вслепую, с папкой под мышкой и легендой,

которая уже дала трещину на первом же посту, было бы глупостью, а я давно отучился делать глупости бесплатно. Я выдыхаю дым в сторону, прикидываю, сколько у меня времени до темноты, и решаю, что лучше понаблюдать, выбрать момент, чем лезть сейчас и рисковать всем, ради чего пришёл.

* * *

Кафе называется «Снежинка», и это единственная шутка, которую сегодняшний вечер мне отпускает бесплатно, ни кондиционера приличного, ни снега, зато окно во всю стену, прямо напротив «Нимбуса», как будто кто-то проектировал это заведение специально для таких, как я, только цена на эспрессо подсказывает, что проектировали его для кого-то с бюджетом побольше моего. Беру кофе и сажусь за столик у стекла, достаю телефон, кладу его экраном вверх рядом с чашкой, чтобы со стороны выглядело так, будто человек ждёт сообщения, а не наблюдает за чужим подъездом. Приём старый, я им пользовался ещё когда искал алиментщиков для доверчивых жён, и он всё ещё работает, никто не обращает внимания на человека с телефоном, все давно разучились смотреть друг на друга, только на экраны.

Охрана у входа стоит так же, как стояла час назад, двое у стеклянных дверей, один у шлагбаума на въезде в паркинг, все в одинаковых тёмных костюмах, подогнанных настолько хорошо, что сразу понятно, не из тех, кого набирают по объявлению за тридцать пять тысяч в месяц. Я допиваю половину чашки, смотрю на часы на телефоне, девять сорок, и

жду, когда появится смена. Смена в таких зданиях обычно случается в десять, реже в девять, но всегда есть движение, перекур, хлопок по плечу, пересменка документов у стойки, которую видно даже через стекло, если знать, куда смотреть.

Движения нет.

Я жду ещё двадцать минут, заказываю вторую чашку, уже не потому, что хочу кофе, а потому, что официантка начинает коситься на пустую посуду, и за это время один из охранников у двери не меняет позы вообще. Ни разу. Не переступает с ноги на ногу, поправляя воротник, не оглядывается на коллегу, когда мимо проезжает машина с орущей из окна музыкой, хотя любой нормальный человек на его месте дёрнулся бы хотя бы взглядом. Я проверяю время на телефоне ещё раз, десять ноль семь, достаю блокнот, не потому что собираюсь писать, просто руке нужно какое-то занятие, пока голова считает минуты и не находит в них смены.

За годы в МУРе я насмотрелся на людей, которые стоят подолгу, постовые на морозе, оперативники в засаде, конвойные у дверей суда. У всех у них со временем проступает усталость, тело начинает выдавать себя мелкими жестами, которые человек не контролирует, потому что контролировать нечем, организм требует движения, крови в ногах, глотка воздуха. У этих троих ничего подобного нет. Они стоят, как фотографии самих себя, вставленные в декорацию живого города, и чем дольше я смотрю, тем очевиднее делается разница между ними и парой курильщиков, которые вы-

ходят покурить из соседнего бизнес-центра и за пять минут успевают переступить с ноги на ногу раз десять каждый.

Я отворачиваюсь от окна, растираю лицо ладонью, напоминаю себе, что на ногах уже давно и два часа сна за последние тридцать делают с восприятием то же самое, что делает плохое освещение с хорошим портретом, искажают, вытягивают тени там, где их не должно быть. Охранники просто дисциплинированные, думаю я, вышколенные настолько, что способны стоять смирно дольше обычного человека, бывает такое у бывших спецназовцев, у меня самого был инструктор, который мог простоять по стойке смирно без единого движения так долго, что казался статуей, просто чтобы доказать курсантам, что они размазни. Объяснение собирается аккуратно, деталь к детали, и почти склеивается, не хватает только того, чтобы я сам в него поверил.

Тут боковым зрением я ловлю на карнизе соседнего здания, чуть левее «Нимбуса», ровно на границе света уличного фонаря и темноты, что-то белое. Пятно размером с кошку, неподвижное, сидящее почти на самом краю карниза так, что любое живое существо давно бы потеряло равновесие от порыва ветра с набережной. Я поворачиваю голову резче, чем собирался, но пятно уже не там, то ли ушло в тень, то ли мне показалось, и на секунду в груди у меня что-то узнаёт эту белизну раньше, чем разум успевает возразить, узнаёт тот самый вес взгляда, который я ловил на себе в деревне Глинково, когда кошка с неправильными глазами смотрела на меня

с забора, не моргая, будто изучала не кошачьим умом.

Я тру глаза костяшками пальцев, говорю себе, что это соседский кот вышел на вечернюю прогулку по карнизу, что белых кошек в Москве не одна и не две, что у меня больше суток без нормального сна и чашка кофе на желудок, в котором с утра не было ничего кроме сигаретного дыма, а усталый мозг склонен находить знакомые узоры там, где их нет, это называется апофения, нам читали про это на курсах повышения квалификации, когда ещё существовали курсы повышения квалификации и у меня была квалификация, которую стоило повышать.

Объяснение снова почти склеивается. Почти.

Я смотрю на часы. Охрана у «Нимбуса» так и не поменялась, стоит та же тройка, будто её залили в бетон вместе с тротуарной плиткой. Решаю, что ждать дольше бессмысленно, и начинаю прикидывать окно, между одиннадцатью и полуночью набережная обычно должна пустеть, последние засидевшиеся в офисах уже разъезжаются, рестораны поблизости ещё работают, но посетители сидят внутри, а не курсируют по улице, значит, служебный вход со стороны паркинга в это время обычно остаётся без лишних глаз, хотя бы на несколько минут между обходами. Не идеальный расклад, но лучшего можно не дождаться вовсе, если буду сидеть здесь до утра и смотреть на троих, которые не умеют моргать.

Расплачиваюсь наличными, оставляю мелочь на чай, чтобы официантка запомнила меня как обычного клиента, а не

как человека, который три часа пялился в окно на чужое здание. В сумке под курткой у меня всё, что нужно, набор отмычек, который я ни разу не выбрасывал, хотя лицензии частного детектива давно нет, фонарь размером с палец, достаточно яркий, чтобы не споткнуться в тёмном техническом коридоре, и диктофон, на всякий случай, вдруг там найдётся что записать, кроме собственного сердцебиения. Проверяю всё по порядку, застёгиваю молнию, бросаю последний взгляд на карниз соседнего дома, где уже ничего белого нет, и выхожу из кафе в густую духоту вечерней набережной, туда, где между мной и ответом на вопрос, куда делась Анна, остаётся один служебный вход и час, который я сам себе назначил наименее людным за весь вечер.

* * *

Служебный вход я нахожу там, где и должен быть у любого приличного бизнес-центра, со стороны паркинга, между мусорными контейнерами и рампой для грузовиков, куда днём заезжают фуры с питьевой водой и канцелярией для триста офисов наверху. Асфальт здесь шершавый, в пятнах, пахнет нагретым за день бетоном и чем-то кисловатым из переполненного бака, который давно не вывозили, хотя на вид «Нимбус» заведение не из тех, где забывают платить за вывоз мусора. Я иду вдоль стены, держась в тени, которую отбрасывает козырёк рампы, и чувствую, как под курткой ремень сумки с инструментом врезается в плечо сильнее обычного, то ли от духоты, то ли оттого, что тело само натягивается,

готовясь к тому, чего разум ещё не признал.

Дверь серая, металлическая, с панелью магнитного замка и мигающим зелёным светодиодом над ней, оказывается приоткрытой на палец. Не распахнутой настежь, или сорванной с петель, а именно приоткрытой, аккуратно, будто кто-то вышел покурить и забыл подпереть кирпичом, только кирпича нет, и я стою секунд десять, разглядывая эту щель, прежде чем позволяю себе подумать то, что напрашивается само, ни одна служба безопасности в здравом уме не оставляет служебный вход без присмотра открытым на верхнем этаже, где, если верить Гаврилову, минимум дважды пропадали люди.

Толкаю дверь стволом фонаря, не рукой, профессиональная привычка, которую пять лет без погон так и не вытравили, и прислушиваюсь.

И вот тут что-то в затылке у меня холодеет быстрее, чем я успеваю это себе объяснить.

Должен быть гул. В любом техническом коридоре любого бизнес-центра, оснащённого центральной вентиляцией, обязан стоять ровный низкий гул кондиционирования, перекрываемый изредка переговорами охраны по рации, скрипом тележки с грузом, шарканьем уборщицы с ведром. Здесь, ничего. Не тихо в том смысле, в каком бывает тихо ночью в пустом доме, где всё равно слышен холодильник на кухне. Здесь тишина другого сорта, плотная, как вода в закрытом бассейне, будто звук сюда не доходит в принципе, будто по-

мещение изолировано не стенами, а чем-то, для чего у меня нет слов.

Я стою на пороге, не входя, и говорю себе привычное, вентиляцию могли отключить на ночь ради экономии, в современных зданиях это делают сплошь и рядом, автоматика переводит систему в спящий режим после последнего посетителя, вот и всё объяснение, скучное и бюрократическое, как положено.

Достаю из кармана куртки сканер диапазонов, старую игрушку ещё с оперативной службы, которую я так и не сдал на склад вещдоков, потому что никто не спросил. Включаю, кручу верньер по частотам, которыми обычно пользуются частные службы охраны, двадцать седьмой канал, тридцать третий, служебный диапазон, зарезервированный для таких контор. Шипение. Больше ничего. Ни позывных, или переклички постов, ни обычного треска, с которым рация оживает хотя бы на секунду, когда кто-то случайно давит кнопку в кармане. Я медленно веду по шкале вверх и вниз, жду хоть какого-то отклика, и эфир отвечает мне такой же мёртвой тишиной, как и коридор за дверью.

Тройка на входе, которая не меняется три часа. Эфир, в котором не живёт ни один голос. Я мог бы развернуться прямо сейчас, вернуться к машине, позвонить Гаврилову ещё раз и попросить пробить сигнализацию здания через пульт централизованного наблюдения, сделать всё, как учили, по инструкции, которую я сам когда-то вдалбливал молодым

операм. Вместо этого я убираю сканер в карман, напоминаю себе, что рации могли выключить вместе с вентиляцией ради той же экономии, что у охранных контор бывают технические окна для профилактики оборудования, что я уже два раза за вечер нашёл рациональное объяснение неправильным вещам, и третье найдётся тоже, стоит только достаточно постараться.

Вру себе красиво. Профессионально. Почти верю.

Делаю шаг через порог.

Темнота внутри гуще, чем снаружи, где хотя бы фонари набережной цедят немного света через щели между контейнерами, и первые два метра я иду, держа фонарь выключенным, доверяя памяти о типовой планировке подобных зданий больше, чем глазам. Воздух здесь суше, чем должен быть в июне, и под ногами, ровный пол без единой соринки, будто его моют каждый час, хотя логичнее было бы ожидать пыль технического коридора, куда редко заглядывают посторонние.

Дверь за спиной закрывается.

Без сквозняка, на улице безветренно, я проверял это ещё в кафе. Без гудения мотора доводчика, какой стоит на любой приличной пожарной двери, без лязга защёлки, скрежета петель. Просто тихий щелчок, холодный, аккуратный, будто кто-то бережно притворил крышку шкатулки, и я остаюсь по эту сторону один, в темноте, которая только что показала мне, что умеет двигаться сама.

Гла

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.